



# Джозеф Конрад Лорд Джим. Тайфун (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=12135371](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12135371)*

*Лорд Джим. Тайфун (сборник): Клуб Семейного Досуга; Харьков; 2015  
ISBN 978-966-14-9768-8, 978-966-14-9764-0, 978-966-14-9767-1*

## **Аннотация**

«Биографию Джозефа Конрада запомнить очень просто. В семнадцать лет – матрос. В двадцать семь – капитан. В тридцать семь – первый роман. Если бы не одно «но». Роман «Безумие Олмейера» был написан по-английски. А Джозеф Теодор Конрад Коженъовски был поляком, получил образование во Львове и Кракове, первые четыре года ходил в море на французских судах и начал изучать английский в возрасте двадцати лет. Это не помешало ему стать классиком английской литературы. В статью о нем дотошные википедисты попытались включить список всех английских авторов, признававших влияние Конрада на их собственные тексты. По этому списку можно изучать английский и американский модернизм: непревзойденный стилист, основоположник психологизма в английской прозе...»

## Содержание

Полиглот из Бердичева	5
Лорд Джим	8
Предисловие автора	8
Глава I	10
Глава II	14
Глава III	17
Глава IV	22
Глава V	25
Глава VI	35
Глава VII	45
Глава VIII	51
Глава IX	56
Глава X	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

# **Джозеф Конрад**

## **Лорд Джим. Тайфун**

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015

\* \* \*

## Полиглот из Бердичева

Биографию Джозефа Конрада запомнить очень просто. В семнадцать лет – матрос. В двадцать семь – капитан. В тридцать семь – первый роман. Если бы не одно «но». Роман «Безумие Олмейера» был написан по-английски. А Джозеф Теодор Конрад Коженъовски был поляком, получил образование во Львове и Кракове, первые четыре года ходил в море на французских судах и начал изучать английский в возрасте двадцати лет. Это не помешало ему стать классиком английской литературы. В статью о нем дотошные википедисты попытались включить список всех английских авторов, признававших влияние Конрада на их собственные тексты. По этому списку можно изучать английский и американский модернизм: непревзойденный стилист, основоположник психологизма в английской прозе...

Тем не менее немалую часть любой статьи о Конраде составляют попытки разобраться, сколько именно языков ему было известно. Попытаемся сделать это и мы. Джозеф Теодор Конрад родился в фамильном поместье под украинским Бердичевом, в семье польского поэта, драматурга, переводчика, участника польского восстания 1863 года Аполлона Коженъовского. Конрад вырос на польской литературе, особенно ценил Болеслава Пруса, критики иногда находят у него заимствование у польских авторов целых сюжетов. Однако будучи уже известным, он мягко отвергал все просьбы польских друзей написать что-нибудь и по-польски. Его единственная попытка перевода с польского на английский была признана несостоятельной: потери перевода, страдавшего буквализмом, оказались слишком велики, чтобы адекватно передать польский текст. Это, кстати, послужило хорошим ответом тем критикам, которые считали, что Конрад писал по-польски и сам себя переводил на английский. Никак нет. Не получалось. Переводчиком всех его романов на польский стала его племянница Анеля Загорська.

Вторым родным для урожденного шляхтича языком был французский. Есть масса свидетельств того, что говорил он по-французски бегло, изысканно и без малейшего акцента. Более того, своей мечтой о море юноша был обязан «Труженикам моря» француза Виктора Гюго.

Сохранилась история ухаживаний Конрада за французской барышней с острова Маврикий. Его предложение руки и сердца было отвергнуто, но не из-за иностранного акцента, а из-за ненадежности положения польского эмигранта во французском флоте. Через четыре года, видимо уже в момент исправления штурманского диплома, выяснилось, что он нелегал, т. к. работает на французских судах без разрешения российского правительства.

Это едва не довело экспрессивного поляка до самоубийства. На семейном совете его дядя и ангел-хранитель, Тадеуш Бобровски, посоветовал перевестись в английский торговый флот, который не имеет соглашения с царским правительством о выдаче и при этом признает французские морские дипломы. А язык, что язык? Придется выучить. Так неожиданно французская литература проиграла английской «битву за маринистику»: Конрад не раз шутил, что английскому он обязан свободой, профессией, друзьями, книгами и самыми яркими переживаниями своей жизни.

С друзьями – особенно показательно. Литературоведы обнаружили, что большинство его героев, например, капитан Мак-Вир из «Тайфуна», сохраняют настоящие фамилии тех, кто плавал вместе с Конрадом. Самой мыслью о том, что может стать английским писателем, он обязан дружбе с Джоном Голсуорси. Слепой случай. Они познакомились на пароходе: известный английский писатель был пассажиром, а Джозеф Конрад служил на этом судне помощником капитана.

Море щедро на друзей. В нем нет иных развлечений, кроме бесед и искреннего интереса к собеседнику. Недаром большинство романов Конрада – это именно рассказ его «аль-

тер эго», капитана Марлоу. Моряки бесподобные рассказчики, у них есть возможность отшлифовать свои истории, «проехав по ушам» всякий раз новых пассажиров. К чести Голсуорси, он сумел убедить колониального штурмана, что его рассказы нужно записывать и публиковать. И нечего переживать и тушеваться. Однако Конрад все же стушевался и признался, что первый роман уже написан. Но Голсуорси его все-таки показал.

Роман «Безумие Олмейера» произвел сильное впечатление на издателя Эдварда Гарнетта. Однако он сомневался по поводу языка – он считал, что текст весьма сильно напоминает перевод с иностранного языка. И поэтому дал почитать рукопись жене. Эта милая леди сумела убедить мужа, что «иностранный акцент» тексту не вредит, а, напротив, вносит своеобразный колорит и освежает английскую грамматику. В самом деле, Конрад пугал лаконичных англичан сложносочиненно-сложноподчиненными предложениями длиной в абзац. Миссис Констанс Гарнетт оказалась не из пугливых. Правда, она настолько не боялась сложных предложений, что позже стала известной переводчицей русских романов. Однако, нам кажется, все гораздо проще: женщины всегда любили моряков.

И еще о друзьях. Конрад был вхож в английские литературные круги, с энтузиазмом встретившие его первые литературные опыты. Все его новые рассказы, повести и романы, прежде чем выйти отдельными книгами, печатались в солидных литературных журналах. Но его финансовое положение оставалось нестабильным: тиражи книг были достаточны для джентльмена, живущего на ренту, но малы для литератора, живущего на гонорары. И кто-то из друзей-литераторов выхлопотал ему королевский ежегодный пансион в сто фунтов стерлингов для гражданских ветеранов (вполне приличные деньги по тем временам – если верить Виктору Гюго, тысячу фунтов стоил новый пароход).

Успех у широкой публики пришел только на тринадцатом его романе «Шанс» (1913). По иронии судьбы, литературные друзья считали его самым слабым из романов Конрада, ведь к тому времени уже были написаны и «Негр с “Нарцисса”», и «Ностромом», и «Сердце тьмы», и «Лорд Джим», считающийся вершиной творчества писателя. Но этот шанс оказался счастливым. После него английская публика записалась в фанаты Конрада, большими тиражами пошли переиздания предыдущих романов и публикация новых – бестселлеров уже только из-за имени автора. Модернисты настолько вошли во вкус бесконечных конрадовских предложений, что вскоре стали писать вообще без знаков препинания и назвали стиль «поток сознания».

Однако вернемся к загадке. Если относительно трех «основных» языков, на каждом из которых Джозеф Конрад мог бы писать романы, литературоведам уже все ясно, то о других нелитературных познаниях до сих пор только высказываются предположения. Можно предположить, что раз он окончил колледж в австро-венгерском Кракове, то не мог не знать немецкого. А если большая часть его странствий связана с Индокитаем, мог на приличном уровне овладеть малайским.

Судьба распорядилась так, что корабли капитана Конрада ходили не в британских водах. Во французских – в юности, в голландских в Индонезии и бельгийских в Африке – в зрелости (конголезский язык в копилку гипотез?). Это парадоксальным образом позволило англичанам не воспринимать на свой счет его критику колониализма.

Риском продолжить ряд предположений о лингвистических способностях также русским языком, и, возможно, литературой. Логично для подданного российской короны: в детстве больше года вместе с отцом он прожил в ссылке в Вологде, где по-польски говорили только ссыльные. Может, оттуда и пессимизм, преимущественно трагические развязки написанных им романов.

Как бы то ни было, напрашивается простой вывод: можно стать классиком английской литературы, начав изучать английский в двадцать лет. Доказано Конрадом. Выучить разговорный язык досконально в столь почтенном возрасте – нельзя. Доказано им же.

С началом Великой войны, которую у нас продолжают называть Первой мировой, бдительность англичан обострилась в поисках немецких шпионов. И бдительные граждане однажды сдали Джозефа Конрада полиции прямо на улице за... иностранный акцент, разоблачающий «шпиона». Он просидел в участке более суток и был освобожден только по просьбе великих соратников – то ли Герберта Уэллса, то ли Джона Голсуорси. Славная компания, верно?

## Лорд Джим

### Предисловие автора

*Да, моя уверенность укрепляется с того момента, когда другая душа ее разделит.*

*Новалис*

Когда этот роман впервые вышел отдельной книгой, стали поговаривать о том, что я переступил пределы мною задуманного. Некоторые критики утверждали, будто произведение, начатое как новелла, ускользнуло из-под контроля автора. Один или двое считали это очевидным и, казалось, этим забавлялись. Они указывали: повествовательная форма имеет свои законы. Они утверждали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. Это, говорили они, маловероятно.

Поразмыслив в течение приблизительно шестнадцати лет, я не так уже в этом уверен. Известно, что люди – как под тропиками, так и в умеренном климате – просиживали полночи, «рассказывая друг другу сказки». Здесь мы имеем лишь одну сказку, но рассказчик говорил с перерывами, дававшими некоторое облегчение; что же касается выносливости слушателей, то следует принять постулат: история была интересна. Это необходимая предпосылка. Если бы я не верил в то, что она интересна, – я бы никогда не начал ее писать. Что же касается физической выносливости, все мы знаем: иные речи в парламенте произносились в течение шести, а не трех часов, тогда как ту часть книги, в которой дан рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Кроме того, – хотя я выключил все незначительные детали, – мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки – стакан минеральной воды или что-нибудь в этом роде, – помогавшие рассказчику продолжать повествование.

Сознаюсь, я задумал написать рассказ, посвященный эпизоду с паломническим судном, – и только. Такова была концепция. Написав несколько страниц, я остался чем-то недоволен и отложил на время исписанные листы. Я не вынимал их из ящика до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блеквуд не намекнул, что я должен снова что-нибудь дать в его журнал.

Тогда только я понял, что, отгалкиваясь от эпизода с паломническим судном, можно развернуть широкую повесть. Понял я также, что этот эпизод может придать «чувству бытия» колорит простой и яркий. Но все эти настроения и побуждения были в то время довольно туманны и не кажутся мне яснее теперь, по истечении стольких лет.

Те немногие страницы, какие я отложил в сторону, до известной степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я умышленно переделал заново. Принимаясь за работу, я знал – книга выйдет длинная, хотя и не предвидел, что она растянется на тринадцать номеров журнала.

Иногда мне задавали вопрос, не люблю ли я эту книгу больше всех остальных мной написанных. Я – великий враг фаворитизма и в общественной жизни, и в частной, и даже в тех случаях, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Принципиально я не хочу иметь фаворитов; однако не буду утверждать, будто чувствую неудовольствие и досаду, зная, что иные оказывают предпочтение моему Лорду Джиму. Не буду даже говорить, что я отказываюсь понять... Нет! Но однажды случилось так, что я был удивлен и сбит с толку.

Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не нравилась. Об этом я пожалел, конечно, но удивило меня основание такой неприязни. «Вы знаете, – сказала она, – все это так болезненно».

Приговор заставил меня провести час в тревожных размышлениях. Наконец я пришел к тому заключению, что эта дама ни в коем случае не была итальянкой, хотя я допускаю, что тема до известной степени чужда нормально восприимчивым женщинам. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не усмотрел бы ничего болезненного в той остроте, с какой человек реагирует на потерю чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее осудят как искусственную, – и, возможно, мой Джим – тип, встречающийся нечасто. Но я могу заверить своих читателей, что он не является плодом холодного извращенного мышления. И он – не дитя Северных Туманов. Солнечным утром в повседневной обстановке одного из рейдов на Восток видел я, как он прошел мимо – умоляющий, выразительный, в тени облака, безмолвный. Таким он и должен быть. И мне подобало со всем сочувствием, на какое я был способен, найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был одним из нас.

*Джозеф Конрад, июнь 1917*

## Глава I

Ростом он был шесть футов, – пожалуй, на один-два дюйма меньше, сложения крепкого и шел прямо на вас, слегка сгорбившись, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что заставляло думать о быке, бросающемся в атаку. Голос у него был глубокий, громкий, а держался он так, словно упрямо настаивал на признании своих прав. Однако ничего враждебного в этом не было; казалось, это требование признания вызвано было необходимостью и, видимо, относилось в равной мере и к нему самому, и ко всем остальным. Он всегда был одет безукоризненно, с ног до головы – в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где зарабатывал себе на жизнь, служа морским клерком у торговцев корабельным такелажом и прочими предметами снабжения судов.

Морскому клерку не нужно сдавать никаких экзаменов, но он должен отличаться сноровкой и проявлять ее на практике. Его работа заключалась в том, чтобы на катере под парусом или на веслах обгонять других морских клерков, первым подплывать к судну, готовому бросить якорь, и весело приветствовать капитана, вручая ему проспект судового поставщика; когда же капитан сходит на берег, морской клерк должен уверенно, но без чванства направить его к большой, похожей на пещеру лавке, где можно найти большой выбор напитков и съестных припасов, необходимых на судне. Там имеется решительно все, чтобы сделать судно красивым и пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы, и продавец встречает там, словно родного брата, любого капитана, которого никогда раньше не видел. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и копией портовых правил, и радушный прием, который растапливает соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство, таким образом завязанное, вы поддерживаете, благодаря ежедневным визитам морского клерка, до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану клерк относится как верный друг и внимательный сын; проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Позже посылается счет. Прекрасное и гуманное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встречаются столь редко. Если морской клерк, наделенный сноровкой, вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему хорошие деньги и дает кое-какие побрякушки.

Джим всегда получал хорошее жалованье и пользовался такими побрякушками, какие завоевали бы верность врага. Тем не менее, столкнувшись с черной неблагодарностью, он бросал работу и уезжал. Объяснения, какие он давал своим хозяевам, были явно несостоятельными. . . «Проклятый болван!» – говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было их мнение о его утонченной чувствительности.

Белые, жившие на побережье, и капитаны судов знали его просто как Джима – и только. Имелась у него, конечно, и фамилия, но он был заинтересован в том, чтобы она не произносилась. Его инкогнито, продырявленное, словно решето, имело целью скрывать не личность, но факт. Когда же факт пробивался сквозь инкогнито, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт – обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании, – моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая хороша лишь для работы морского клерка. Он и отступал в строгом боевом порядке туда, где восходит солнце, а факт следовал за ним, прорываясь случайно, но неизбежно. Так – по мере того как шли годы – о Джиме узнавали в Бомбее, Калькутте, Рангуне, Пенанге, Батавии, – и в каждом из этих портов его знали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острая реакция на то, что невыносимо, окончательно оторвала его от морских портов и белых людей и увлекла в девственные леса, малайцы лесного

поселка, где он пожелал скрыть свой прискорбный дар, прибавили словечко к его односложному инкогнито. Они называли его Тюан Джим, что соответствует Лорду Джиму.

Он вышел из пасторской семьи – этого приюта благочестия и мира, откуда выходят многие капитаны торговых судов. Отец Джима обладал тем ограниченным знанием непознаваемого, какое необходимо для праведной жизни обитателей коттеджей и не нарушает спокойствия духа тех, кому непогрешимое провидение разрешает жить в богатых особняках. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Здесь стояла она столетия, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу – у подножия холма – мягкими тонами отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, клумбами и соснами; позади дома находился фруктовый сад, налево – мощный скотный двор, а к кирпичной стене лепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был одним из пяти сыновей, и когда, начитавшись легкой беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».

Там он познакомился с тригонометрией и научился лазить по реям. В общем его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он проворно и ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на фор-марсе, и с презрением человека, которому суждено жить среди опасностей, частенько смотрел он оттуда вниз на мирное полчище крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу, – трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он видел, как отчаливали большие корабли, бесконечной лентой двигались широкие паромы и плавали лодки там, внизу, под ним, – а вдали мерцал туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и заранее мысленно переживал жизнь на море, о которой знал из книг. Он видел себя: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты, или с веревкой плывет по волнам прибоя, или, потерпев крушение, одиноко бродит, босой и полуголый, по не покрытым водой рифам в поисках ракушек, которые отсрочили бы голодную смерть. Он сражался с дикарями под тропиками, умирал мятеж, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях – всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки...

– Что-то неладно, все сюда!

Он вскочил на ноги. Мальчики избегали по трапам. Сверху доносились крики, топот. Выбравшись из люка, он застыл на месте, ошеломленный.

Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, приостановив движение на реке, и теперь дул с силой урагана; его прерывистый гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали грозно надвигающиеся волны, маленькое суденышко металось у берега; неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане; тяжело раскачивались широкие паромы на якорю, поднимались и опускались огромные пристани, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это начисто смел. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме какое-то злобное упорство, яростная настойчивость в визге ветра, в диком смятении земли и неба, – ярость, как будто направленная против него, и в страхе он затаил дыхание. Он стоял неподвижно. А ему казалось, что его подхватил вихрь.

Его толкали.

– Спустить катер!

Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в стоявшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна был свидетелем этого происшествия. Мальчики облепили поручни, сгрудились у шлюпбалок.

– Авария! Как раз перед нами. Мистер Симонс видел.

Его отпихнули к бизань-мачте, и он ухватился за снасти. Старое ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, опуская нос под ударами ветра, а снасти низким басом тянули песню о днях его юности на море.

– Спускайте!

Джим видел, как шлюпка быстро опустилась за борт, и бросился к поручням. Раздался плеск.

– Отдать концы!

Он перегнулся через поручни. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, весь во власти ветра и волн, которые на секунду прижали его борт о борт к судну. Слабо донесся чей-то голос с катера:

– Гребите сильнее, ребята, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильнее!

И вдруг катер, подбросив высоко нос – весла были подняты, – перескочил через волну и разорвал чары, наложенные на него волнами и ветром.

Джим почувствовал, как кто-то схватил его за плечо.

– Опоздал, мальчуган!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, как будто собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся.

– В следующий раз тебе повезет. Это тебя научит быть расторопнее.

Громкими радостными криками приветствовали катер. Наполовину залитый водой, он вернулся, танцуя на волнах, а на дне его копошились в воде два измученных человека. Грозный шум ветра и моря казался Джиму не стоящим внимания – тем сильнее он сожалел о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, как нужно к ней относиться, он думал, что шторм ему нипочем. Он сумеет встретить и более серьезную опасность – лучше, чем кто бы то ни было другой. От страха не осталось и следа. Тем не менее в тот вечер он мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера – мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами – был героем палубы. Его обступили, с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

– Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не упал за борт; я думал, что упаду, но тут старый Симонс выпустил румпель и ухватил меня за ноги – лодка едва не опрокинулась. Симонс – славный старик. Беда невелика, что он на нас ворчит. Он все время ругался, пока держал меня за ногу, но этим он только хотел дать мне понять, чтобы я не выпускал багор. Старик Симонс ужасно волнуется, правда! Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого – большого, с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Подумайте только: такой здоровый парень – и падает в обморок, словно девушка. Разве мы с вами потеряли бы сознание из-за какой-то царапины багром? Я бы не потерял! Крючок вошел ему в ногу вот на такой кусок. – Он показал багор, принесенный для этой цели вниз, и вызвал сенсацию. – Нет, глупости! Крючок, конечно, вырвал клочок мяса, но штаны выдержали. Кровь так и хлестала!

Джим решил, что то было суетное тщеславие, достойное сожаления. Буря пробудила героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он сердился на чудовищное смятение земли и неба, заставшее его врасплох и постыдно задушившее благородную готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Знания его стали шире, чем у тех, кто участвовал

в деле. Если все утратят мужество, он один – в этом он был уверен – сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн. Он знал, чего она стоит. Ему – беспристрастному зрителю – она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и потрясающее событие закончилось тем, что, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков, Джим ликовал, вновь убедившись в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.

## Глава II

После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ярко себе представлял, оказалась странно лишенной приключений. Он сделал много рейсов. Познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить порицания людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба, – единственной наградой за него является безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более заманчивого, разочаровывающего и поработящего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был благовоспитан, уравновешен, послушен и в совершенстве знал свои обязанности; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен старшим помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие обнаруживают, чего стоит человек, из какого материала он скроен и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивляемости и истинные мотивы его стремлений не только другим, но и ему самому.

Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря. А ярость эта проявляется не так часто, как принято думать. Есть много оттенков в опасности приключений и бурь, и только изредка лик событий затягивается мрачной пеленой зловещего умысла: вскрывается неуловимое нечто, и в мозг и в сердце человека закрадывается уверенность в том, что это сплетение событий или бешенство стихий надвигается с целью недоброй, с силой, не поддающейся контролю, с жестокостью необузданной, замышляющей вырвать у человека надежду и возбудить в нем страх, мучительную усталость и стремление к покою... раздавить, уничтожить, стереть все, что он видел, знал, любил, ненавидел – и насущно необходимое, и ненужное, – солнечный свет, воспоминания, будущее, – надвигается с жестокостью, замышляющей смести весь мир, просто и безжалостно отняв у человека жизнь.

На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец-капитан впоследствии говорил: «Дружище! Я считаю чудом, что судно выдержало!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, словно обретался в бездне непокоя. Его не интересовало, каков будет конец, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством и расплывчатостью человеческой мысли. Страх становится слабее, воображение – враг людей, отец всех ужасов, ничем не подстрекаемое, тонет в тупой усталости. Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед ним была картина опустошения в миниатюре, и втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но изредка непобедимая тревога схватывала в тиски его тело, заставляя задыхаться и корчиться под одеялами, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физической агонии, вызывала в нем отчаянное желание спастись во что бы то ни стало. Потом буря миновала, и Джим больше о ней не вспоминал.

Однако он все еще хромал, а когда судно прибыло в один восточный порт, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Он поправлялся медленно, и судно ушло без него.

Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь два больных: комиссар с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный поставщик из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью.

Доктора он считал ослом и втайне злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему контрабандой его неутомимый и преданный слуга из Тамила. Больные рассказывали друг другу случаи из своей жизни, немного играли в карты или, не снимая пижам, валялись по целым дням в креслах, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь

стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в окна, всегда раскрытые настежь, приносил в пустую комнату мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе и нескончаемых грезах. Каждый день Джим глядел на изгороди садов, крыши домов, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше – туда, на рейд, путь на Восток, – на рейд, усеянный гирляндами островков, залитый праздничным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда – эта суета напоминала шумный языческий праздник, – а вечно ясное восточное небо и улыбающееся мирное море тянулись вдаль и вширь до самого горизонта.

Как только Джим стал ходить без палки, он спустился в город разузнать о возможности вернуться на родину. В то время благоприятного случая не представлялось, и, выжидая, он, естественно, сошелся в порту с людьми своей профессии. Они были двух сортов. Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом пиратов и глазами мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их фантастическом существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно законченным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно, вошли в командный состав местных судов. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг – священен, а суда обречены на штормы. Они настроились на вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белым. Они содрогались при мысли о тяжелой работе и, полагаясь на случай, жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение, служа китайцам, арабам, полукровкам... они готовы были служить самому дьяволу, если бы тот предоставил им эту возможность. Неустанно говорили они о случайных удачах: как такой-то получил командование судном, плавающим у берегов Китая, – легкая работа; как одному досталось прекрасное место где-то в Японии, а другой преуспевает в сиамском флоте; на всем, о чем бы они ни говорили, – на всех их поступках, взглядах, манерах, – было пятно – знак гниения, решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.

Джиму эта толпа разглагольствующих моряков казалась сначала менее реальной, чем тени. Но под конец он начал находить очарование в этих людях, якобы преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу вытеснялось иным чувством. Внезапно отказавшись от мысли вернуться на родину, он занял место первого помощника на «Патне».

«Патна» была местным пароходом, таким же старым, как холмы, тощим, как борзая, и изъеденным ржавчиной хуже, чем никуда не годный чан для воды. Владельцем ее был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – ренегат, немец из Нового Южного Уэльса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но – видимо, подражая успешной политике Бисмарка, – тиранил всех тех, кого не боялся, и разгуливал с видом свирепым и железно-непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разводившего пары у деревянной пристани.

По трем сходням, тремя потоками поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, топая и шаркая босыми ногами, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от перил, растеклись по всей палубе, потекли на нос и на корму, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, проникающая в выбоины и трещины, как вода, безмолвно поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин – каждый со своими надеждами, привязанностями, воспоминаниями – пришли сюда с севера и юга и с далекого востока.

Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау<sup>1</sup> вдоль отмелей, перебирались в маленьких каноэ с острова на остров, терпели страдания, видели странные места, испытали неведомый доселе страх, и единое желание их поддерживало. Они пришли из одиноких хижин в лесной глуши, из многолюдных поселков, из приморских деревень. словно по зову покинули они свои леса, свои просеки, защиту своих вождей, свои богатства и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, – сильные мужчины во главе своих семей, тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение; юноши с бесстрашными глазами, с любопытством озирающиеся по сторонам; пугливые девочки со спутанными длинными волосами; робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, – спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.

– Посмотрите-ка на них, – сказал немец-шкипер новому своему помощнику.

Араб – глава этих благочестивых странников – явился последним. На борт он поднялся медленно, – красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним следовала вереница слуг, тащивших его багаж. «Патна» отчалила от мола.

Она проскользнула между двумя маленькими островками и наискось пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруг в тени холма, потом близко подошла к гряде пенистых рифов. Араб, стоя на корме, вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость Всевышнего на это путешествие, молил благословить труд людей и тайные их стремления. В сумерках пароход разбил спокойные воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал пламенным глазом, словно насмехаясь над благочестивым паломничеством.

«Патна» вышла из проливов, пересекла залив и продолжала путь по проходу «Один Градус». Она шла к Красному морю под ясным небом, под небом палящим и безоблачным, окутанным в блеск солнечного сияния, которое убивает все мысли, давит на сердце, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба море, синее и глубокое, оставалось неподвижным, даже рябь не морщила его поверхности, – море клейкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением прошла по этой равнине, лучезарной и гладкой, развернула по небу черную ленту дыма, оставила за собой на воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезла, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным пароходом.

Каждое утро солнце, словно принаравливаясь на путях своих к продвижению паломников, поднималось, молчаливо извергая свет, всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, стремилось дальше, на запад, и таинственно погружалось в море – каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Тент белой крышей растянулся над палубой с носа до кормы, и только слабое жужжанье – тихий шепот грустных голосов – обнаруживало присутствие толпы людей на ослепительной глади океана. Так проходили дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно падая в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна; а «Патна», одинокая под облачком дыма, упорно шла вперед, черная и дымящаяся в лучезарном пространстве, как будто опаленная пламенем, лижущим ее с неба.

Ночи спускались на нее, как благословение.

---

<sup>1</sup> Прау – вид туземной лодки, сходный с каноэ. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)

## Глава III

Чудесная тишина объяла мир, и звезды, казалось, посылали на землю вместе с ясными своими лучами заверение в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сияющий низко на западе, походил на тонкую стружку, оторвавшуюся от золотого слитка, и Аравийское море, ровное и казавшееся холодным, словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся безостановочно, как будто удары его являлись частью схемы какой-то надежной вселенной, а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды протянулись неподвижные и мрачные на мерцающей глади; между этими прямыми расходящимися гребнями виднелось несколько белых завитков пены, вскипающей с тихим шипением, легкая рябь, зыбь и маленькие волны, которые, оставшись позади, за кормой, еще секунду шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, объятые тишиной воды и неба, а черное пятно – движущееся судно – по-прежнему оставалось в самом центре тишины.

Джим, стоявший на мостике, был проникнут великой уверенностью в безграничной безопасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лице природы, как любовь запечатлевается на кротком и неясном лице матери. Под тентом, отдавшись мудрости белых людей и их мужеству, доверяя могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, паломники взыскательной веры спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех темных углах, – спали, завернутые в окрашенные ткани, закутанные в грязные лохмотья, а головы их покоились на маленьких узелках, и лица были прикрыты согнутыми руками; спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе с сильными – все равные перед лицом сна, брата смерти.

Струя воздуха, навеваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала мрак между высокими бульварками, проносилась над рядами распростертых тел; тускло горели круглые лампы, подвешенные к перекладинам, и в стертых кругах света, отбрасываемого вниз и слегка трепещущего в ответ на непрекращающуюся вибрацию судна, виднелись задранный вверх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нога, закутанная в рваное одеяло, голова, откинутаая назад, голая ступня, шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под нож.

Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, огородившись тяжелыми ящиками и пыльными циновками; бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под голову; одинокие старики спали, подогнув колени, на ковриках, расстилаемых для молитвы, раздвинув локти, прикрывая руками уши; какой-то мужчина, втянув голову в плечи и уткнувшись лбом в колени, грустно дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; одна женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба, сложенное на корме, громоздилось тяжелой глыбой с ломаными очертаниями, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груды наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, подножка стула, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к куче подушек, нос жестяного кофейника.

Патентованный лаг на поручнях кормы ритмически выбивал отдельные звенящие удары, отмечая каждую миллю, пройденную паломниками. Время от времени над телами спящих всплывал слабый и терпеливый вздох – испарения тревожного сна; из недр судна внешне вырывался короткий металлический стук, слышно было, как жестко скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священнодействующие над чем-то таинственным там, внизу, были исполнены ярости и гнева; а стройный, высокий корпус парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно разрезал великий покой вод, спящих под недоступным и ясным небом.

Джим ходил взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недостижимое и не видели тени надвигающегося события. Единственной тенью на море была тень от черного дыма, тяжело выбрасываемого из трубы широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, стоя по обе стороны штурвала, управляли рулем; медный обод колеса поблескивал в овальном пятне света, отбрасываемого лампой нактоуза. Время от времени рука с черными пальцами, то отпуская, то снова сжимая вращающиеся спицы, показывалась на светлом пятне; звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в пазах вала.

Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недостижимый горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия; нерушимое спокойствие словно придало ему мужества, и он чувствовал – ему все равно, что бы ни случилось с ним до конца его дней. Изредка он лениво вглядывался на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади штурвала. При свете фонаря, подвешенного к пиллерсу, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал; дно, изображенное на нем, было такое же гладкое, как мерцающая поверхность вод. На карте лежали линейка для проведения параллелей и циркуль; положение судна в полдень было отмечено черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до перима, обозначала курс судна – тропу душ к святому месту, к обетованному спасению, к вечной жизни; карандаш, касаясь острием берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно голая мачта, всплывшая в заводи защищенного дока.

«Как ровно идет судно», – с удивлением подумал Джим, с какой-то благодарностью воспринимая покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались в кругу доблестных подвигов, он любил эти мечты и успех своих воображаемых достижений. То было лучшее в жизни, тайная ее истина, скрытая ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, очарование неуловимого, они проходили перед ним героической процессией, они увлекали его душу и опьяняли ее божественным напитком – безграничной верой в самого себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что он улыбнулся, беспечно глядя вперед; оглянувшись, он увидел белую полосу кильватера, проведенную по морю килем судна, – полосу такую же прямую, как черная линия, проведенная карандашом на карте.

Ведро с золой ударились о вентиляторы топки, и этот металлический стук напомнил ему, что близится конец его вахты. Он вздохнул с удовольствием, но в то же время пожалел, что приходится расставаться с этим невозмутимым спокойствием, поощряющим дерзкую свободу его мысли. Ему немножко хотелось спать, он ощущал приятную усталость во всем теле, словно вся кровь его превратилась в теплое молоко. Шкипер бесшумно поднялся на мостик; он был в пижаме, и широко распахнутая куртка открывала голую грудь. Он еще не совсем проснулся; лицо у него было красное, левый глаз полузакрит, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сильная, лоснилась, словно он вспотел во сне, и из пор выступил жир. Он сделал какое-то профессиональное замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминающим скрежет пилы, врезающейся в доску; складка его двойного подбородка свисала, как мешок, подвязанный к челюсти; Джим вздрогнул и ответил очень почтительно, но отвратительная мясистая фигура, словно увиденная впервые в минуту просветления, навсегда запечатлелась в его памяти как воплощение всего порочного и подлого, что таится в мире, нами любимом: оно таится в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение; в людях, нас окружающих; в картинах, какие раскрываются перед нашими глазами; в звуках, касающихся нашего слуха; в воздухе, наполняющем наши легкие.

Тонкая золотая стружка месяца, медленно опускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, ярче замерцали звезды, стуженнее сделался блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так ровно, что не ощущалось никакого движения вперед, как будто «Патна» была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира, за роем солнц, в жуткой и спокойной пустыне, ожидающей дыхания новых творений.

– Мало сказать – жарко там, внизу, – раздался чей-то голос.

Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер, невозмутимый, стоял, повернувшись к нему широкой спиной; в обычае ренегата было не замечать сначала вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, разразиться с пеной у рта потоком брани, вырывающимся, словно из водосточной трубы. Сейчас он только угрюмо что-то проворчал; второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, нимало не смущаясь, продолжал жаловаться. Морякам хорошо здесь, наверху, и хотел бы он знать, какой от них толк? Бедные механики должны вести судно, и они прекрасно справились бы и со всем остальным; ей-богу, они...

– Замолчите! – тупо проворчал шкипер.

– Ну конечно! Замолчать! А как что неладно, вы сейчас же бежите к нам, верно? – продолжал тот. Он уже наполовину изжарился там, внизу. Во всяком случае, теперь ему было все равно, как бы он ни нагрешил: за последние три дня он получил прекрасное представление о том местечке, куда отправляются после смерти дрянные людишки... ей-богу, получил... и вдобавок оглох от адского шума там, внизу. Проклятая гнилая развалина грохочет и тарыхтит, словно старая лебедка, даже еще громче; и какого черта ему рисковать своею жизнью дни и ночи среди всей этой рухляди, будто на кладбище для кораблей, он понятия не имеет! Должно быть, он от рождения такой легкомысленный. Он...

– Где вы напилесь? – осведомился немец; он был взбешен, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза, похожий на грубую статую человека, вырезанную из глыбы жира. Джим по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт; исполненный благородных стремлений, он упивался сознанием своего превосходства.

– Напился! – презрительно повторил механик; обеими руками он держался за поручни – темная фигура с подгибающимися коленями. – Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скаредны, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите ему капельку шнапса. Вот что у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Он расчувствовался. Около десяти часов первый механик дал ему одну рюмочку... «Всего-навсего одну, ей-богу! Добрый старикашка; но теперь старого мошенника не стащишь с койки – пятитонным краном не поднять его. Э, нет! Во всяком случае, не сегодня! Он спал сладким сном, словно младенец, а под подушкой у него покоилась бутылка с первоклассным бренди».

С уст командира «Патны» сорвалась хриплая ругань, и слово «schwein»<sup>2</sup> запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Он и старший механик были знакомы много лет – вместе служили веселому, хитрому старику китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою почтенную седую косу. В родном порту «Патны» жители побережья придерживались того мнения, что эти двое – шкипер и механик – по части наглых хищений друг другу не уступают. Внешне они гармонировали плохо: один – с мутными глазами, злобный и мясистый; другой – тощий, с головой длинной и костлявой, словно голова старой клячи, с ввалившимися глазами и остекленевшим взором.

Старшего механика прибило к берегу где-то на Востоке – в Кантоне, Шанхае или, быть может, в Иокогаме; он и сам, должно быть, не помнил, где именно произошло крушение

---

<sup>2</sup> Свинья (нем.).

и чем оно было вызвано. Двадцать лет назад его, из сострадания к его молодости, спокойно выпихнули с судна, а могло быть и куда хуже для него, так что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал и тени сожаления. В то время в восточных морях стало развиваться пароходство, а так как людей его профессии поначалу было мало, то он «сделал карьеру». Всем приезжим он неуклонно сообщал грустным шепотом, что он «здесьшний старожил». Когда он двигался, казалось – скелет болтается в его платье. Походка у него была раскачивающаяся, и так, раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка машинного отделения, курил без всякой любви к куренью, набивал табаком медную чашечку, приделанную к четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо-торжественным видом мыслителя, развивающего философскую систему из туманных проблесков истины. Обычно он скупился и оберегал свой личный запас спирта, но в эту ночь отказался от своих принципов, а потому второй механик – у юнца из Уэппинга голова была слабая – от неожиданного угощения крепким напитком стал очень весел, дерзок и болтлив.

Немец из Нового Южного Валлиса бесновался и пыхтел, словно труба для выпуска пара, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз: последние десять минут вахты раздражали, как медленно стреляющее ружье. Этим людям не было места в мире героических приключений, хотя они, в сущности, были неплохими парнями. Даже сам шкипер... Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой пытящей массы жира, испускающей булькающее бормотанье – темный поток грязных ругательств; однако приятная усталость мешала ему ощущать активную неприязнь к кому бы то ни было.

Ему не было дела до этих людей; он работал с ними плечо к плечу, но коснуться его они не могли; он дышал с ними одним воздухом, но был иным человеком... Набросится ли шкипер на механика?... Жизнь была легка, и он был слишком в себе уверен – слишком уверен, чтобы... Черта, отделявшая его размышления от дремоты, стала тоньше паутинки.

Второй механик незаметно переходил к рассуждениям о своих финансах и своем мужестве.

– Кто пьян? Я? Э, нет, капитан! Дело не в этом. Пора бы вам знать, что наш первый не слишком щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал; не выдуманно такое зелье, от которого бы я опьянел. Я готов пить с вами на пари – вы пейте виски, а я – жидкий огонь, и – ей-богу – я останусь свежим, как огурчик. Я готов! Хоть сейчас! А с мостика я не уйду. Где вы прикажете мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом? И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец воздел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

– Я не знаю, что такое страх, – продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. – Я не боюсь проклятой работы на этом гнилом судне. Счастье для вас, что существуют на свете такие люди, которое не дрожат за свою жизнь... иначе что бы вы без нас делали, – вы и эта старая посуда с обшивкой, словно из смоленой бумаги... ей-богу, из смоленой бумаги! Вам хорошо, вы из нее вытягиваете монету, а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Почтительно спрашиваю вас – почтительно, заметьте, – кто же откажется от такой проклятой работы? И дело это опасное! Но я – один из тех бесстрашных парней...

Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество; его тонкий голос пронзительно взлетал над морем; он приподнялся на цыпочки, чтобы ярче подчеркнуть фразу, и вдруг полетел вниз головой, как будто его сзади подбили палкой. Падая, он крикнул: «Проклятие!» За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и шкипер – оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпря-

мившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх, на звезды.

Что случилось? По-прежнему раздавалось заглушенное биение машин. Быть может, земля приостановилась на пути своем? Они ничего не понимали; и внезапно спокойное море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в своей неподвижности, словно застыли у края гибели. Механик поднялся, выпрямившись во весь рост, и снова съехался в неясный комок. Комок заговорил заглушенным обиженным голосом:

– Что это такое?

Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук – едва ли не вибрация воздуха, – и судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый корпус судна, стремясь вперед, казалось, постепенно – от носа до кормы – приподнялся на несколько дюймов, словно стал складным, потом снова опустился и по-прежнему неуклонно делал свое дело, разрезая гладкую поверхность моря. Он перестал дрожать, и сразу стихли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и гудящего воздуха.

## Глава IV

Месяц спустя, когда Джим в ответ на прямые вопросы пытался честно рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне:

– Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку.

Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в административном суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении для свидетелей в прохладной высокой комнате; большие пунка<sup>3</sup> тихонько вращались вверху над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица – темные, белые, красные, – лица внимательные, словно все эти люди, сидевшие на узких, рядами поставленных скамьях, были поработаны чарами его голоса. А голос его звучал громко, и Джиму он казался жутким, – то был единственный звук, слышимый во всей вселенной, ибо отчетливые вопросы, исторгавшие у него ответ, как будто складывались в его груди, – тревожные, болезненные, острые и безмолвные, как жуткие вопросы совести. Снаружи пылало солнце, а здесь вызывал дрожь ветер, нагнетаемый большими пунка, бросало в жар от стыда, кололи острые, внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских асессоров<sup>4</sup>. Свет из широкого окна под потолком падал сверху на головы и плечи этих трех человек, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из теней с остановившимися расширенными глазами. Им нужны были факты. Факты! Они требовали от него фактов, как будто факты могут объяснить все!

– Придя к заключению, что вы натолкнулись на что-то – скажем, на обломок судна, наполовину погруженный в воду, – ваш капитан приказал вам идти на нос разузнать, не получены ли какие-нибудь повреждения. Считаете ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? – спросил заседатель, сидевший слева.

У него была жидкая борода в форме подковы и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои волосатые руки и глядел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй асессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел, откинувшись на спинку стула, и, вытянув левую руку, барабанил пальцами по блокноту. Посередине председатель в широком кресле склонил слегка голову на плечо и скрестил на груди руки; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

– Нет, не считаю, – сказал Джим. – Мне велено было никого не звать и не шуметь, чтобы избежать паники. Эту предосторожность я счел разумной. Я взял одну из ламп, висевших под тентом, и отправился на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услышал плеск. Тогда я спустил лампу, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина. – Он приостановился.

– Так... – сказал грузный асессор, с мечтательной улыбкой глядя на блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.

– В тот момент я не думал об опасности. Должно быть, я был немного взволнован: все это произошло так спокойно и так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто был оглушен и сообщил мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Опускаясь вниз, он поскольз-

---

<sup>3</sup> Большие матерчатые веера, вделанные в раму и приводимые в действие веревкой.

<sup>4</sup> Асессор – судебное должностное лицо, соответствует нашему заседателю.

нулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Он воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятая посуда вместе с нами пойдет ко дну, словно глыба свинца». Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, взбежал по трапу, крича на бегу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Бить его он не стал, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, капитан его спрашивал, почему он, черт возьми, не пойдет и не остановит машину, вместо того чтобы поднимать этот шум. Я слышал, как он сказал: «Вставай! Беги живой!» – и выругался. Механик спустился с мостика и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал...

Джим говорил медленно; воспоминания были удивительно отчетливы; для сведения этих людей, требующих фактов, он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее было возмущение, он пришел к тому выводу, что лишь мелочная точность рассказа может выявить подлинный ужас, скрывавшийся за жутким ликом событий. Факты, какие так сильно хотелось узнать этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали свое место во времени и пространстве – для их существования требовались двадцать семь минут и пароход вместимостью в тысяча четыреста тонн; они составляли нечто целое, с определенными чертами, оттенками, сложным аспектом, который улавливала зрительная память, но помимо этого было и что-то иное, невидимое – дух, ведущий к гибели, – словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Это происшествие не входило в рубрику обычных дел, всякая мелочь имела величайшее значение, и, к счастью, он помнил все. Он хотел говорить во имя истины, – быть может, также ради себя самого; речь его текла обдуманно, а мысль металась в сжатом кругу фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей; он походил на животное, которое, очутившись за изгородью из высоких кольев, бегаем по кругу, обезумев в ночи, ищет слабое местечко, какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его время от времени запинаться.

– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику; на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся, а когда я с ним заговорил, он наткнулся на меня, словно был совершенно слеп. Ничего определенного он мне не ответил. Он что-то бормотал про себя; я разобрал несколько слов – «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – что-то о паре. Я подумал...

Джим становился непочтительным; вопрос, возвращающий к сути дела, оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватили безграничное уныние и усталость. Он приближался к этому... приближался... и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял, выпрямившись на возвышении, а душа его корчилась от боли. Ему пришлось ответить еще на один вопрос, по существу, на вопрос ненужный, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус, как после глотка морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по пересошим губам, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине.

Грузный ассессор опустил веки; рассеянный и грустный, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго ассессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали доброту; председатель слегка наклонился вперед; бледное лицо его приблизилось к цветам, потом, облокотившись о ручку кресла, он подпер голову рукой. Ветер пунка обвеивал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях свои круглые пробковые шлемы, – тиковые костюмы облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен скользили босоногие туземцы-констебли, затянутые в длинные белые одежды; в красных поясах и красных тюрбанах они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и проворные, подобно гончим.

Глаза Джима в паузах между ответами блуждали и остановились на белом человеке, сидевшем в стороне; лицо у него было усталое и задумчивое, но спокойные глаза смотрели прямо, оживленные и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть: «Что толку в этом? Что толку?» Он тихонько топнул ногой, закусил губу и посмотрел в сторону повернутых к нему голов. Он встретился взглядом с белым человеком. Глаза последнего не походили на остановившиеся, словно замороженные глаза остальных. В этом взгляде была воля. Джим между двумя вопросами забылся до того, что нашел время думать. «Этот парень, – развертывалась его мысль, – глядит на меня так, словно видит кого-то или что-то за моим плечом».

Где-то он видел этого человека – быть может, на улице. Но был уверен, что никогда с ним не говорил. В течение многих дней он не говорил ни с кем, – лишь с самим собой вел молчаливый, бессвязный и нескончаемый разговор, словно узник в камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, которые значения не имели, хотя и преследовали определенную цель, и размышлял о том, будет ли он еще когда-нибудь в своей жизни говорить. Звук его собственных правдивых слов подтверждал его убеждение, что дар речи больше ему не нужен. Тот человек как будто понимал его безнадежное затруднение. Джим взглянул на него, потом решительно отвернулся, словно навеки распрощавшись с ним.

И впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу не раз с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.

Это случилось после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, испещренных огненными точками сигар. На длинных тростниковых стульях ютились молчаливые слушатели. Изредка маленькое красное пятнышко поднималось и, разгораясь, освещало пальцы вялой руки, часть лица глубоко спокойного или вспыхивало красноватым блеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. И едва произнеся первое слово, Марлоу спокойно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в пропасть времени и прошлое говорило его устами.

## Глава V

– О да! Я был на разборе дела, – говорил он, – и по сей день не перестаю удивляться, зачем я пошел. Я готов верить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но в таком случае и вы должны согласиться со мной – к каждому из нас приставлен черт. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не хочу быть человеком исключительным, а я знаю, что он у меня есть, – я имею в виду дьявола. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются. Он при мне состоит, а так как по природе своей он зол, то и втягивает меня в подобные истории. Какие истории, спрашиваете вы? Ну, скажем, следствие, история с желтой собакой... Вы считаете невероятным, чтобы шелудивой туземной собаке разрешили подвертываться людям под ноги на веранде того дома, в котором находится суд? Вот какими путями – извилистыми, неожиданными, поистине дьявольскими – заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня языки развязываются и начинаются признания; словно мне самому не в чем себе признаться, словно у меня – да поможет мне бог! – не найдется таких признаний, над которыми я могу мучиться до конца дней моих. Хотел бы я знать, чем я заслужил такую милость. Довожу до вашего сведения, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Чарли, дорогой мой, ваш обед был чересчур хорош, и в результате этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякое усилие! Пусть Марлоу рассказывает».

Рассказывать! Да будет так. И довольно легко говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, имея под рукой ящик с приличными сигарами, в тихий прохладный вечер, при звездном свете. Это может заставить даже лучших из нас позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании и должны пробивать себе дорогу под перекрестным огнем, следя за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично. Однако подлинной уверенности в этом нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся! Конечно, повсюду встречаются люди, для которых вся жизнь похожа на послеобеденный час с сигарой – легкий, приятный, пустой, быть может, оживленный какой-нибудь небылицей о борьбе; о ней забываешь раньше, чем рассказан конец... если только конец у нее имеется.

Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Вам следует знать, что все, в какой-либо мере связанные с морем, находились там, в суде, ибо уже много времени назад вокруг этого дела поднялся шум, – с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Эдена, заставившая всех нас раскудахтаться. Я говорю «таинственная», так как до известной степени она была таковой, хотя и преподносила всего лишь голый факт – такой голый и безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Прежде всего, одеваясь утром в своей каюте, я услышал через переборку, как мой парс Дубаш, получив разрешение выпить чашку чая в буфетной, лопотал со стюардом о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, и вот что я прежде всего услышал:

– Слыхали вы когда о чем-нибудь более поразительном?

Смотря по темпераменту, они цинично улыбались, принимали грустный вид либо раздражались ругательствами. Люди совершенно незнакомые фамильярно заговаривали для того только, чтобы выложить свои соображения по этому вопросу, бродяга являлся на набережную в надежде, что его угостят рюмочкой за разговором об этом деле; те же речи вы слышали

и в управлении порта, и от каждого судового маклера, от вашего агента, от белых туземцев, от полукровок, даже от полуголых лодочников, на корточках сидящих на каменных ступенях мола. Клянусь Юпитером, от лодочников! Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что могло с ними случиться. Вы знаете, кого я имею в виду. Так продолжалось недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что все таинственное в этом деле обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления порта, я заметил четверых людей, шедших мне навстречу вдоль набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг – если можно так выразиться – заорал мысленно: «Да ведь это они!»

Да, действительно, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть не подобает; после сытного завтрака они только что высадились с идущего за границу парохода Северной Линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Ошибки быть не могло; с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого толстого человека на тропиках, поясом обвивающих нашу добрую старушку Землю. Кроме того, месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал тиранические учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке Де Джонга; наконец Де Джонг, который, и глазом не моргнув, сдирал гульден за бутылку, отозвал меня в сторону и, сморщив свое маленькое лицо, конфиденциально заявил:

– Торговля торговлей, капитан, но от этого человека меня тошнит. Тьфу!

Стоя в тени, я смотрел на него. Он несколько опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он напомнил мне дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был экстравагантно красочный: запачканная пижама с ярко-зелеными и густо-оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем; шлем был ему мал и удерживался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не может повезти, когда дело дойдет до переодевания в чужое платье. Отлично. Итак, он стремительно несся вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и штурмом взял лестницу, ведущую в управление порта, чтобы сделать свой доклад или донесение – называйте как хотите.

Видимо, он прежде всего обратился к главному инспектору по найму судовых команд. Арчи Рутвел только что явился в управление и, как он впоследствии рассказывал, готов был начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Кое-кто из вас должен знать этого клерка – услужливого маленького португальца-полукровку с жалкой тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь по части съедобного – кусок солонины, мешок сухарей, картофеля или что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от судовых моих запасов; не то чтобы я ждал от него услуги, – как вам известно, он ничего не мог сделать, – но меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая – дух рас, пожалуй, – да и климат... Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую лекцию, – полагаю, на тему о морали должностных лиц, – когда услышал за своей спиной какие-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое и огромное, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и возвышающуюся посередине просторной канцелярии. Рутвел был до такой степени ошеломлен, что очень долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, для чего и каким образом этот предмет был поставлен перед его конторкой. За аркой, выходящей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунка, туземцы-констебли, боцман и команда парового катера гавани; все они вытягивали шеи

и готовы были лезть друг другу на спину. Настоящее столпотворение! Тем временем толстяк ухитрился сорвать с головы шлем и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет это привидение. Оно вещало голосом хриплым и замогильным, но держалось неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» вступает в новую фазу. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе: Арчи такой чувствительный, его легко сбить с толку, но он взял себя в руки и крикнул:

– Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к начальнику порта. Я не могу... Капитана Эллиота – вот кого вам нужно. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт подсказал ему остеречься: он уперся и зафыркал, словно испуганный бычок:

– Послушайте! В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул дверь.

– Капитан «Патны», сэр, – крикнул он. – Входите, капитан.

Он видел, как старик, что-то писавший, так резко поднял голову, что пенсне его упало; Арчи захлопнул дверь и бросился к своему столу, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но, по его словам, шум, поднявшийся за дверью, был столь ужасен, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – самый чувствительный инспектор по найму судовых команд в обоих полушариях. Он утверждает, что чувствовал себя так, словно впихнул человека в логовище голодного льва. Несомненно, шум поднялся страшный. Крики я слышал внизу и не сомневаюсь, что они были слышны на другом конце эспланады, у эстрады для оркестра. Старый папаша Эллиот имел богатый запас слов, умел кричать и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал:

– Более высокий пост я занять не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и, если им не нравится мое представление о долге, я охотно уеду на родину. Я – старик, и всю свою жизнь я говорил все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж при моей жизни.

То был его пунктик помешательства. Три его дочери были очень хорошенькие, хотя удивительно походили на него. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам относительно их замужества, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам служащих, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел ренегата, но – если разрешите мне продолжить метафору – разжевал его основательно и... выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как чудовищный толстяк торопливо спустился с лестницы и остановился на ступенях подъезда – остановился подле меня, погруженный в глубокие размышления; его толстые пурпурные щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившись вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них – желтолицего вульгарного человечка – рука была на перевязи, другой – долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми, опущенными вниз усами, худой как палка, озирался по сторонам с видом самодовольно-глупым. Третий – стройный широкоплечий юноша – засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые серьезно о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную площадь. Ветхая запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против этой группы; извозчик, положив правую ногу на колено, критически разглядывал на ней пальцы. Молодой человек, не двигаясь, даже не поворачивая головы, смотрел прямо перед собой на озаренную солнцем эспланаду. Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, чистенький, он твердо

стоял на ногах – один из самых многообещающих мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным! Мысленно я сказал себе: что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда... От обиды я готов был швырнуть свою шляпу и растоптать ее, как поступил однажды на моих глазах шкипер итальянского барка, когда его болван помощник запутался с якорями, собираясь швартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя его таким спокойным: глуп он, что ли? Или груб до бесчувствия? Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. И заметьте – меня нимало не занимало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и должен был лечь в основу официального следствия.

– Этот старый негодяй там, наверху, назвал меня подлецом, – сказал капитан «Патны». Не могу сказать, узнал ли он меня, – думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами – я улыбался; «подлец» был самым мягким эпитетом, какой, вылетев в открытое окно, коснулся моего слуха.

– Неужели? – сказал я, почему-то не сумев удержать язык за зубами. Он кивнул, снова укусил себя за палец и вполголоса выругался; потом, подняв голову, посмотрел на меня с угрюмым бесстыдством и воскликнул:

– Ба! Тихий океан велик, мой друг. Вы, проклятые англичане, поступайте, как вам угодно. Я знаю, где есть место такому человеку, как я; меня хорошо знают в Апия, в Гонолулу, в...

Он приостановился, размышляя; а я без труда мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать не стану – я сам был знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь равно приятна во всякой компании. Я это пережил и теперь не намерен с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из той дурной компании – за неимением ли морального... морального... как бы это сказать?... морального положения или по иным не менее веским причинам – вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные респектабельные коммерческие воры, которых вы, господа, сажаете за свой стол. А ведь подлинной необходимости так поступать у вас нет: вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и разнообразных побуждений.

– Вы, англичане, все негодяи, – продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина. Право, сейчас я не припомню, какой приличный маленький порт у берегов Балтики осквернился, сделавшись гнездом этой редкой птицы. – Чего вы кричите? А? Скажите мне? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый плут черт знает как на меня разорался.

Вся его душа тряслась с головы до ног, а ноги походили на пару подушек.

– Вот как вы, англичане, всегда поступаете: поднимаете шум из-за всякого пустяка потому только, что я не родился в вашей проклятой стране. Забирайте мое свидетельство. Берите его. Не нужно мне свидетельства. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него.

Он плюнул.

– Я приму американское подданство! – крикнул он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых и таинственных тисков, которые не позволяли ему сойти с места. Он так разгорячился, что макушка его головы буквально дымилась.

Не какие-либо таинственные силы мешали мне уйти, меня удерживало любопытство – самая яркая из всех эмоций. Я хотел знать, как примет новости тот молодой человек, который, засунув руки в карманы и повернувшись спиной к тротуару, глядел поверх зеленых

клуб площади на желтый портал отеля Малабар, – глядел с видом человека, собравшегося прогуляться, как только его друг к нему присоединится. Вот какой он имел вид, и это было отвратительно. Я ждал. Я думал, что он будет ошеломлен, потрясен, уничтожен, будет корчиться, как посаженный на булавку жук... И в то же время я почти боялся это увидеть... Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, чем следить за человеком, уличенном не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Порядочность в простейшей ее форме препятствует нам совершать преступления; но от слабости неведомой, а, быть может, лишь подозреваемой – как в иных уголках земли вы в каждом кусте подозреваете присутствие ядовитой змеи, – от слабости скрытой, за которой следишь или не следишь, вооружаешься против нее или мужественно ее презираешь, подавляешь или не ведешь о ней чуть ли не в течение доброй половины жизни, – от этой слабости ни один из нас не огражден. Нас втягивает в западню, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и однако дух может выжить – пережить осуждение и, клянусь Юпитером, пережить повешение! А бывают поступки – иной раз они кажутся совсем незначительными, – которые кое-кого из нас губят окончательно.

Я следил за этим юношей; мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал; устои у него были хорошие, он был одним из нас. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей – мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или занимательны, но вся жизнь их основана на честной вере и инстинктивном мужестве. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество; я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению – о готовности отнюдь не рассудочной и не искусственной, о силе сопротивления, неизящной, если хотите, но ценной, о безумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и наступающими извне, перед властью природы и соблазнительным развратом людей... Такое упорство зиждется на вере, которой не сокрушат ни факты, ни дурной пример, ни натиск идей. К черту идеи! Это – бродяги, которые стучатся в заднюю дверь вашей души, и каждая идея уносит с собой частичку вас самих, крупицу той веры в немногие простые истины, какой вы должны держаться, если хотите жить пристойно и умереть легко.

Все это прямого отношения к Джиму не имеет; но внешность его была так типична для тех добрых глупых малых, бок о бок с которыми чувствуешь себя приятно, – людей, не волнуемых причудами ума и, скажем, развращенностью нравов. Такому парню вы по одному его виду доверили бы палубу – говорю образно и как профессионал. Я бы доверил, а кому это знать, как не мне! Разве я в свое время не обучал юношей уловкам моря, – уловкам, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и однако каждый день нужно заново внедрять его в молодые головы, пока он не сделается составной частью всякой мысли наяву, пока не будут им окрашены все их юношеские сновидения! Море было великодушно ко мне, но, когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки, – иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были добрыми моряками, – тогда мне кажется, что и я не остался в долгу у моря. Вернись я завтра на родину – ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока и свежий, низкий голос прозвучит над моей головой: «Помните меня, сэр? Как? Да ведь я – такой-то. Был юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание».

И я вспомню ошеломленного юнца ростом не выше спинки этого стула; мать и, быть может, старшая сестра стоят на пристани, стоят тихие, но слишком удрученные, чтобы помахать платком вслед судну, плавно скользящему к выходу из дока, или же отец средних лет раненко пришел проводить своего мальчика, остается здесь все утро, так как его, по-видимому, заинтересовало устройство брашпиля, мешкает слишком долго и в самую последнюю минуту сходит на берег, когда уже нет времени попрощаться. Боцман с кормы кричит мне протяжно:

– Подождите секунду, господин помощник. Тут один джентльмен хочет сойти на берег... Пожалуйста, сэр. Чуть было не отправились в Талькагуано. Пора уходить; потихоньку... Отлично. Эй, там, на носу! Отдавайте канаты!

Буксирные пароходы, дымя, словно адские трубы, завладевают судном и сбивают в пену старую реку; джентльмен на берегу смахивает с колен пыль; сострадательный стюард швырнул ему его зонтик. Все в порядке. Он принес свою маленькую жертву морю и теперь может отправляться домой, притворяясь, что нимало об этом не думает. А не пройдет и суток, как маленькая добровольная жертва будет жестоко страдать от морской болезни. Со временем, когда мальчик выучит все маленькие тайны и познает один великий секрет мастерства, он сумеет жить или умереть – в зависимости от того, что повелит ему море; а человек, который принял участие в этой безумной игре, – в игре, где всегда выигрывает море, – почувствует удовольствие, когда тяжелая молодая рука хлопнет его по спине и беззаботный голос юного моряка скажет: «Помните меня, сэр? Я такой-то. Был юнцом...»

Уверяю вас, приятно это испытать. Вы почувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Да, меня хлопали по спине, и я морщился, ибо рука была тяжелая, и целый день у меня было легко на душе, и спать я ложился, чувствуя себя менее одиноким благодаря этому дружескому удару по спине. Помню ли я юнца такого-то! Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Раз взглянув на того юношу, я доверил бы ему палубу и заснул бы сладким сном. А оказывается, это было бы небезопасно. Жутко становилось от этой мысли. Он так же внушал доверие, как новенький соверен; однако в его металле была какая-то адская лигатура. Сколько же? Совсем чуть-чуть, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого – крохотная капелька! Однако, когда он стоял там с видом «на все наплевать», вы начинали думать, уж не вылит ли он весь из меди.

Я не мог этому поверить. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет страдать, – ведь есть же профессиональная честь! Двое других – не идущие в счет парни – заметили своего капитана и начали медленно к нам приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались, – быть может, обменивались шутками. Я убедился, что у одного из них сломана рука, другой – долговязый субъект с седыми усами – был главный механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они были ничто. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, таинственного действия неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, – должно быть, чтобы с ними заговорить. Но тут какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые багровые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он, переваливаясь, к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким зверским нетерпением, что казалось, все сооружение вместе с пони повалится на бок. Извозчик, оторванный от исследования своей ступни, проявил все признаки крайнего ужаса и, уцепившись обеими руками за козлы, обернулся и стал смотреть, как огромная туша влезала в его повозку. Маленькая гхарри с шумом раскачивалась и тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные напрягшиеся ляжки, полосатая спина, оранжевая и зеленая, и мучительные усилия этой пестрой туши влезть в нору производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как те гротескные яркие видения, какие пугают и чаруют во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что крыша расколется надвое, маленький ящик на колесах лопнет, словно спелый стручок, но он только осел, зазвенели приплюснутые пружины, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, протиснутые в маленькое отверстие; голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно шар на привязи, – потная, злобная, фыркающая. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса. Он заревел на него, приказывая ехать, трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?

Извозчик ударил хлыстом; пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. Куда? В Апия? В Гонолулу? Шкипер мог располагать шестью тысячами миль тропического пояса, а точного адреса я не слыхал. Храпящий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и больше я его не видал. Этого мало: я не встречал никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, подняв белое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился; и нелепым казалось то, что он словно прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не встречал я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и томного извозчика тамила, разглядывающего свою большую ступню. Тихий океан и в самом деле велик; но нашел ли шкипер арену для развития своих талантов или нет, – факт остается фактом: он унесся в пространство, словно ведьма на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи бросился было за экипажем, бляя на бегу:

– Капитан! Послушайте, капитан! Послушайте!

Но, пробежав несколько шагов, остановился, понурил голову и медленно побрел назад. Когда задрезжали колеса, молодой человек круто повернулся. Больше никаких движений и жестов он не делал и снова неподвижно застыл на месте.

Все это произошло значительно скорее, чем я рассказываю, так как я пытаюсь медлительными словами передать вам мгновенные зрительные впечатления. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи присмотреть за бедными моряками с потерпевшей крушение «Патны». Преисполненный рвения, он выбежал с непокрытой головой, озираясь направо и налево, горя желанием исполнить свою мысль. Она была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной заинтересованной особы; однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же впутался в словопрение с парнем, у которого рука была на перевязи; оказывается, этот субъект горел желанием затеять ссору. Он заявил, что не намерен выслушивать приказания, – э, нет, черт возьми! Его не запугаешь враками, какие преподносит этот дерзкий писака-полукровка. Он не потерпит грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. Твердое его решение – лечь в постель.

– Если бы вы не были проклятым португальцем, – услышал я его рев, – вы бы поняли, что госпиталь – единственно подходящее для меня место.

Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника; начала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы поддержать свое достоинство, пытался объяснить свои намерения. Я ушел, не дожидаясь конца.

Случилось так, что в это время в госпитале лежал один из моих людей; зайдя проведать его за день до начала следствия, я увидел в палате для белых того самого маленького человечка; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвисшими усами также пробрался в госпиталь. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время ссоры, – ушел не то волоча ноги, не то прихрамывая и стараясь не казаться испуганным. Видимо, он не был новичком в порту и в своем отчаянии направил стопы прямехонько в бильярдную и распивочную Мариани, находившуюся неподалеку от базара. Этот не поддающийся описанию бродяга Мариани был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту имел случай потворствовать его порочным наклонностям. Теперь он встретил его раболепно и, снабдив запасом бутылок, запер в верхней комнате своего гнусного вертепа. По-видимому, долговязый субъект опасался преследования и желал спрятаться. Много времени спустя Мариани, явившись как-то на борт моего судна, чтобы получить с баталера деньги за сигары, сообщил мне, что для этого человека готов был сделать и большее, ни о чем не расспрашивая, в благодарность за какую-то гнусную услугу, давным-давно оказанную ему долговязым субъектом. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, выкатил огромные черные глаза – в них блеснули слезы – и воскликнул:

– Антонио никогда не забудет, Антонио никогда не забудет!

Что это была за безнравственная услуга, я так никогда в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность обретаться под замком в комнате, где стоял стол, стул, на полу лежал матрац, в углу куча обвалившейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безрассудному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какими располагал Мариани. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не почувствовал необходимости обратиться в бегство от легиона стоножек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с шаткой маленькой лестницы, упал прямо на живот Мариани, затем вскочил и, как кролик, метнулся на улицу.

Рано поутру полиция подобрала его на куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на виселицу, и он героически сражался за свою жизнь; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно и в таком состоянии пребывал уже два дня. Его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным на фоне подушки; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, если бы не странная тревога, светившаяся в его как будто стеклянных блестящих глазах, словно чудовище, молчаливо притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что у меня родилась нелепая надежда услышать от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.

Не могу сказать, почему мне так хотелось разбираться в позорных деталях происшествия, которое, в конце концов, касалось меня лишь как члена известной корпорации; членов ее связывает лишь бесславный труд да кое-какие нормы поведения. Называйте это, если хотите, нездоровым любопытством. Как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся найти какую-то тайную искупающую причину, объяснение, смягчающие обстоятельства.

Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся одолеть самого стойкого призрака, созданного человеком, – гнетущее сомнение, обволакивающее, как туман, скрытое и гложущее, словно червь, более жуткое, чем неизбежность смерти, – сомнение в верховной власти твердо установленных норм. С ним тяжело бывает сталкиваться; оно-то и порождает панику или толкает на маленькие подлости; в нем кроется погибель. Верил ли я в чудо? И почему я так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени оправдания для этого молодого человека, которого никогда раньше не видал, но одна его внешность придавала особую окраску моим мыслям, – теперь, когда я знал о его слабости и эта слабость казалась мне таинственной и ужасной, словно свидетельствовала о судьбе-разрушительнице, подстерегающей всех нас, – тех, кто в молодости был похож на него.

Боюсь, что таков был тайный мотив моего выслеживания. Да, несомненно, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь чудесным, – это безграничная моя глупость. Я действительно ждал от этого пришибленного и мрачного инвалида какого-то заклęcia против духа сомнений. И, должно быть, я был на грани отчаяния, ибо после нескольких дружелюбных фраз, на которые тот отвечал с вялой готовностью, как и подобает всякому порядочному больному, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, – словно опутав шелком. Деликатным я был умышленно: я не хотел его испугать. До него мне не было дела; к нему я не чувствовал ни злобы, ни жалости; его переживания не имели ни малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и больше уже не мог внушать ни отвращения, ни жалости. Он повторил вопросительно:

– Патна? – Затем, казалось, напряг память и сказал: – Правильно. Я здесь старожил. Я видел, как она пошла ко дну.

Услыхав такую нелепую ложь, я готов был дать исход своему негодованию, но тут он спокойно добавил:

– Она кишела пресмыкающимися.

Я призадумался. Что он хотел этим сказать? В стеклянных его глазах, устрашающе серьезно смотревших в мои глаза, казалось, застыл ужас.

– Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она тонет, – продолжал он задумчивым тоном.

Голос его вдруг окреп. Я раскаивался в своей глупости. Не видно было в палате белоснежного чепца сиделки; передо мной тянулся длинный ряд незанятых железных кроватей; лишь на одной из них сидел тощий и смуглый человек с белой повязкой на лбу – жертва несчастного случая, происшедшего где-то на рейде. Вдруг мой занятый больной протянул руку, тонкую, как щупальце, и вцепился в мое плечо.

– Я один мог разглядеть. Все знают, какой у меня зоркий глаз. Вот, должно быть, зачем они меня позвали. Никто из них не видал, как она тонула, а когда она скрылась под водой, они все заорали... вот так...

Дикий вой заставил меня содрогнуться.

– Ох, да заткните ему глотку! – раздраженно завизжала жертва несчастного случая.

– Полагаю, вы мне не верите, – продолжал тот с безграничным высокомерием. – Говорю вам, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.

Конечно, я тотчас же наклонился. Хотел бы я знать, кто бы этого не сделал!

– Что вы там видите? – спросил он.

– Ничего, – сказал я, ужасно пристыженный.

Он смотрел на меня уничтожающим, презрительным взглядом.

– Вот именно, – сказал он. – А если бы поглядел я, я бы увидел. Говорю вам, ни у кого нет таких глаз, как у меня.

Снова он вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая сделать какое-то конфиденциальное сообщение.

– Миллионы розовых жаб. Ни у кого нет таких глаз, как у меня. Это хуже, чем смотреть на тонущее судно. Миллионы розовых жаб. Я могу смотреть на тонущие суда и целый день курить трубку. Почему мне не отдают моей трубки? Я бы курил и следил за этими жабами. Судно кишело ими. Знаете ли, за ними нужно следить.

Он шутиливо подмигнул. Пот капал у меня со лба; тиковая тужурка прилипла к мокрой спине; вечерний ветерок стремительно проносился над рядом незанятых кроватей, жесткие складки занавесей шевелились, стуча кольцами о медные прутья, одеяла на кроватях развевались, бесшумно приподнимаясь над полом, а я продрог до мозга костей. Мягкий ветерок тропиков играл в пустынной палате, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.

– Не давайте ему орать, мистер, – крикнула издали жертва несчастного случая; этот гневный крик пронесся по палате, словно трепетный зов в тоннеле. Цепкая рука тянула меня за плечо; он многозначительно подмигнул.

– Знаете ли, судно так и кишело ими, и нам пришлось убраться потихоньку, – быстро залепетал он. – Все розовые. Розовые – и огромные, как мастифы. На лбу один глаз, а вокруг пасти отвратительные когти. Уф! Уф!

Он задергался, словно через него пропустили гальванический ток, под одеялом обрисовались худые ноги; потом он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его трепетало, как ненатянутая струна арфы. И вдруг ужас, таившийся в стеклянных глазах, прорвался наружу. Его лицо – спокойное, благородное лицо старого вояки – исказилось на моих глазах: оно сделалось отвратительно хитрым, настороженным, безумно испуганным. Он сдержал вопль.

– Шш... Что они там сейчас делают? – спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос. Я понял значение этого жеста, и мне стала противна моя собственная пронизательность.

– Они все спят, – ответил я, приглядываясь к нему. Правильно. Этого-то он и ждал; именно эти слова и могли его успокоить.

Он перевел дыхание.

– Шш... Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо разmozжить голову первой, которая пошевелится. Слишком их много, и судно не продержится дольше десяти минут.

Он снова заохал.

– Живей! – закричал он вдруг, и крик его перешел в протяжный вопль. – Они все проснулись... их миллионы! Ползут по мне! Подождите! Подождите! Я их буду давить, как мух! Да подождите же меня! На помощь! На по-о-омощь!

Несмолкающий вопль завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии воздела обе руки к забинтованной голове; фельдшер в переднике, доходившем ему до подбородка, появился в дальнем конце палаты – маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и, не теряя времени, выскочил в одну из застекленных дверей на галерею. Вой преследовал меня, словно мщение. Я очутился на пустынной площадке лестницы, и вдруг все вокруг затихло; я спустился по блестящим ступеням в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями. Внизу я встретил одного из хирургов госпиталя; он шел по двору и остановил меня.

– Зашли проведать своего матроса, капитан? Думаю, мы можем завтра его выписать, хотя эти молодцы понятия не имеют о том, что следует беречь здоровье. Знаете ли, к нам попал первый механик с того паломнического судна. Любопытный случай. Один из худших видов *delirium tremens*. Три дня он пил запоем в трактире этого грека или итальянца. Результаты налицо. Говорят, в день он выпивал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только правда. Можно подумать, что внутренности его выстланы листовым железом. Ну, голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в бреде его замечается некая система. Я пытаюсь выяснить. Необычное явление – нить логики при *delirium tremens*. По традиции ему следовало бы видеть змей, но он их не видит. В наше время добрые старые традиции не в почете. Его преследуют видения... э... лягушечьи... Ха-ха-ха! Нет, серьезно, я еще не встречал такого интересного субъекта среди запойных пьяниц. Видите ли, после такого возлияния ему полагается умереть. О, это здоровенный парень. А ведь двадцать четыре года прожил под тропиками. Право же, вам следует взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечательный человек, какого я когда-либо встречал... конечно, с медицинской точки зрения. Хотите посмотреть?

Я слушал его, проявляя из вежливости все признаки интереса, но теперь тоном сожаления прошептал, что у меня нет времени, и поспешил пожать ему руку.

– Послушайте, – крикнул он мне вслед, – он может явиться на суд! Как вы думаете, его показания были бы существенными?

– Нисколько, – отозвался я, подходя к воротам.

## Глава VI

Власти придерживались, видимо, того же мнения. Судебного следствия не отложили, оно состоялось в назначенный день, чтобы удовлетворить правосудие, и собрало большую аудиторию. Не было никаких сомнений относительно фактов, – одного факта, хочу я сказать. Каким образом «Патна» получила повреждения, установить было невозможно; суд не рассчитывал это установить, и во всей зале не было ни одного человека, которого бы интересовал этот вопрос. Однако, как я уже сказал, все моряки порта были налицо, так же как и представители деловых кругов, связанных с морем. Знали они о том или нет, но сюда их привлек интерес чисто психологический: они ждали какого-то существенного разоблачения, которое вскрыло бы силу, могущество, ужас человеческих эмоций. Естественно, такого разоблачения быть не могло. Допрос единственного человека, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг хорошо известного факта, а вопросы были столь же поучительны, как постукивание молотком по железному ящику с целью узнать, что лежит внутри. Однако официальное следствие и не могло быть иным. Занявшись этим делом, оно поставило себе целью добиться ответа не на вопрос «почему?», а на поверхностный вопрос «как?».

Молодой человек мог бы им ответить, но, хотя именно это и интересовало всю аудиторию, вопросы по необходимости отвлекали от того, что для меня, например, являлось единственно стоящим. Не можете же вы ждать, чтобы должностные лица исследовали душевное состояние человека, задаваясь вопросом, не виновата ли во всем только его печень? Их дело было разбираться в последствиях, и, по правде сказать, чиновник магистратуры и два морских асессора не пригодны для чего-либо иного. Я не говорю, что эти парни были глупы. Председатель был очень терпелив. Один из асессоров был шкипер парусного судна – человек с рыжеватой бородкой и благочестиво настроенный. Другим асессором был Брайерли. Великий Брайерли! Кое-кто из вас слышал, должно быть, о великом Брайерли – капитане всем известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда». Он-то и был асессором.

Казалось, он чрезвычайно тяготился оказанной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал ни одной ошибки, не знал случайностей и неудач, в его карьере не бывало задержек. Кажется, он был одним из тех счастливицков, которым неведомы колебания, и еще того менее – неуверенность в себе. В тридцать два года он командовал одним из лучших судов Восточного Торгового флота; мало того – сам считал свое судно исключительным. Второго такого судна не было во всем мире; думаю, если спросить его напрямик, он признался бы, что и такого командира нигде не сыщешь. Выбор пал на достойного.

Остальные люди, не командовавшие стальным пароходом «Осса», который делал шестнадцать узлов в час, были довольно-таки жалкими созданиями. Он спасал тонущих людей на море, спасал суда, потерпевшие аварию, имел золотой хронометр, поднесенный ему по подписке, бинокль с подобающей надписью, который был получен им за вышеперечисленные заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену своим заслугам и своим наградам.

Пожалуй, он мне нравился, хотя я знаю, что иные – к тому же люди тихие и дружелюбные – попросту его не выносили. Я нимало не сомневаюсь, что на меня он смотрел свысока, – будь вы владыкой Востока и Запада, в его присутствии вы чувствовали бы себя существом низшим! Однако я на него по-настоящему не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества, не за то, что я собой представлял. Я был величиной в счет не идущей, ибо не удостоился быть единственным счастливым человеком на земле, – я не был Монтагю Брайерли, владельцем золотого хронометра, поднесенного по подписке, и бинокля в серебряной оправе, свидетельствующих об искусстве в мореплавании и неукротимой отваге; я не обладал острым сознанием своих достоинств и своих наград, не говоря

уже о том, что у меня не было такой черной охотничьей собаки, как у Брайерли, а эта собака была исключительной, и ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как он.

Несомненно, когда все это ставится вам на вид, вы испытываете некоторое раздражение. Однако так же фатально, как и мне, не повезло еще миллиарду двумстам миллионам человек, и, поразмыслив, я пришел к заключению, что могу примириться с его добродушной и презрительной жалостью, ибо что-то в этом человеке влекло меня к нему. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я ему завидовал. Уколы жизни задевали его самодовольную душу не глубже, чем царапает булавка гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой.

Неудивительно, что он тяготился делом Джима. В то время как я едва ли не со страхом размышлял о безграничном его презрении к молодому человеку, он, вероятно, молчаливо анализировал свое собственное дело. Должно быть, приговор был обвинительный, а тайну показаний он унес в море. Если я понимаю что-нибудь в людях, дело это было крайней важности – один из тех пустяков, что пробуждает мысль: мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить. У меня есть данные, я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве и не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после конца следствия и меньше чем через три дня после того, как вышел в плавание, – словно он увидел внезапно в волнах ворота иного мира, распахнувшиеся, чтобы его принять. Однако это не было внезапным импульсом. Его седовласый помощник, первоклассный моряк – славный старик, но по отношению к своему командиру самый грубый парень, какого я когда-либо видал, – бывало, со слезами на глазах рассказывал эту историю. По словам помощника, когда он утром вышел на палубу, Брайерли был в рубке и что-то писал.

– Было без десяти минут четыре, – так рассказывал помощник, – и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. Сказать вам правду, капитан Марлоу, мне здорово не хотелось идти, – со стыдом признаюсь, я терпеть не мог капитана Брайерли. Никогда мы не можем распознать человека. Его назначили, обойдя очень многих, не говоря уже обо мне, а к тому же он чертовски умел вас унижить: «с добрым утром» он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не разговаривал с ним, сэр, иначе как по долгу службы, да и то мог только принудить себя быть вежливым.

(Он польстил себе. Я частенько удивлялся, как может Брайерли терпеть такое обращение.)

– У меня жена и дети, – продолжал он. – Десять лет я служил компании и по глупости своей все ждал командования. Вот он и говорит мне: «Пожалуйста сюда, мистер Джонс». Этаким высокомерным тоном: «Пожалуйста сюда, мистер Джонс». Я вошел. «Отметим положение судна», – говорит он, наклоняясь над картой, а в руке у него циркуль. По правилам, помощник должен это сделать по окончании своей вахты. Однако я ничего не сказал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот и сейчас вижу, как он выводит аккуратные цифры: восемнадцать, восемь, четыре. А год был написан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта теперь у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся; потом посмотрел на меня. «Тридцать две мили держитесь этого курса, – сказал он, – тогда мы отсюда выберемся, и вы можете повернуть на двадцать градусов к югу». В то плавание мы проходили к северу от Гектор-Бэнк. Я сказал: «Да, сэр!» – и подивился, чего он так хлопочет: ведь все равно я должен был вызвать его перед тем, как изменить курс. Тут про-

было восемь склянок; мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, доложил по обыкновению: «Семьдесят один по лагу». Капитан Брайерли взглянул на компас, потом поглядел вокруг. Небо было темное и чистое, а звезды сверкали ярко, как в морозную ночь в высоких широтах. Вдруг он говорит со вздохом: «Я пойду на корму и сам поставлю для вас лаг на нуль, чтобы не вышло ошибки. Еще тридцать две мили держитесь этого курса, и тогда вы будете в безопасности. Ну, скажем, поправка к лагу – процентов шесть. Значит, еще тридцать миль этим курсом, а затем возьмете лево руля сразу на двадцать градусов. Не стоит идти лишних две мили. Не так ли?» Никогда я не слышал, чтобы он так много говорил – и бесцельно, как мне казалось. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, и собака, которая – куда бы он ни шел – днем и ночью следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали его каблуки по палубе; потом он остановился и заговорил с собакой: «Назад, Ровер! На мостик, дружище! Ступай, ступай!» Затем крикнул мне из темноты: «Пожалуйста, запирайте собаку в рубке, мистер Джонс». В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. То были последние слова, сэр, какие он произнес в присутствии живого существа.

Тут голос старика дрогнул.

– Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним, – продолжал он, заикаясь. – Да, капитан Марлоу, он установил для меня лаг; он – поверите ли? – даже смазал его каплей масла: лейка для масла стояла вблизи, – там, где он ее оставил. В половине шестого помощник боцмана пошел со шлангом на корму мыть палубу; вдруг он бросает работу и бежит на мостик. «Не пройдете ли вы, – говорит, – на корму, мистер Джонс? Странную я тут нашел штуку. Мне бы не хотелось к ней притрагиваться». То был золотой хронометр капитана Брайерли, старательно подвешенный за цепочку к поручням. Как только я его увидел, что-то меня словно ударило, сэр. Ноги подкосились. Я точно своими глазами видел, как он прыгал за борт; я бы мог даже сказать, где он остался. Лаг показывал восемнадцать и три четверти мили; у грот-мачты не хватало четырех железных кофель-нагелей. Должно быть, он сунул их в карман, чтобы легче пойти ко дну. Но, боже мой, что значат четыре железных кофель-нагеля для такого здорового человека, как капитан Брайерли! Быть может, его самоуверенность поколебалась чуточку в самый последний момент. Думаю, то был единственный раз в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов за него поручиться: раз прыгнув за борт, он уже не пытался плыть; а упав он за борт случайно, у него хватило бы мужества целый день продержаться на воде. Да, сэр. Второго такого не найти, – я слышал однажды, как он сам это сказал. Во время средней вахты он написал два письма – одно компании, другое мне. Он мне давал всякие инструкции относительно плавания, – а ведь я уже служил во флоте, когда он еще на свет не родился, – и разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование «Оссой». Капитан Марлоу, он мне писал, словно отец своему любимому сыну, а ведь я был на двадцать пять лет старше его и отведал соленой воды, когда он еще не носил штанишек. В своем письме судовладельцам – оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, – он говорил, что всегда исполнял свой долг – вплоть до этого момента – и даже теперь не обманывает их доверия, так как оставляет судно самому компетентному моряку, какого только можно найти. Это меня он имел в виду, сэр, меня! Дальше он писал, что, если этот последний шаг не лишит его их доверия, они примут во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будут искать ему заместителя. И много еще в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. У меня в голове помутилось, – продолжал старик в страшном волнении и вытер уголок глаза концом большого пальца, широкого, как шпатель. – Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так он это стремительно проделал, что я целую неделю не мог опомниться... к тому же еще я считал, что моя карьера сделана. Однако ничуть не бывало! Капитан «Пелиона» был переведен на «Оссу» – явился на борт в Шанхае, маленький франтик, сэр, в сером клетчатом

костюме и с пробором посередине головы. «Э... я... э... я ваш новый капитан, мистер... мистер... э... Джонс». Капитан Марлоу, он словно выкупался в духах – так и несло от него. Должно быть, он подметил мой взгляд и потому-то и начал заикаться. Он забормотал о том, что я, естественно, должен быть разочарован... но тем не менее мне следует знать: его старший помощник назначен командиром «Палиона»... Он лично тут ни при чем... Компания лучше нас знает... ему очень жаль... «Не обращайтесь внимания на старого Джонса, сэр, – говорю я, – он к этому привык, черт бы побрал его душу». Я сразу понял, что оскорбил его деликатный слух; а когда мы в первый раз уселись вместе завтракать, он начал препротивно критиковать то да другое на судне. Голос у него был как у петрушки. Я стиснул зубы, уставился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец не выдержал и что-то сказал; он как вскочил на цыпочки и взъерошил все свои красивые перышки, словно боевой петушок. «Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли». – «Это мне уже известно», – говорю я очень мрачно и делаю вид, будто занят своей котлетой. «Вы – старый грубиян, мистер... э... Джонс, и компания вас таким и считает!» – взвизгнул он. А слуги стоят кругом и слушают, растянув рот до ушей. «Может, я и крепкий орешек, – отвечаю, – а все-таки мне невтерпеж видеть, что вы сидите в кресле капитана Брайерли». И кладу нож и вилку. «Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле – вот где собака зарыта!» – огрызнулся он. Я вышел из кают-компании, сложил пожитки и, раньше чем явились грузчики, очутился со всем своим имуществом на набережной. Да-с. Выброшен на берег... после десяти-то лет службы... А за шесть тысяч миль отсюда жена и четверо детей только и держатся моим жалованьем. Да, сэр! Но я не мог терпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был пойти на все. Он мне оставил бинокль – вот он; он поручил мне свою собаку – вот она. Эй, Ровер! Бедняга! Ровер, где капитан?

Собака тоскливо посмотрела на нас своими желтыми глазами, уныло твякнула и забила под стол.

Этот разговор происходил больше двух лет спустя на борту старой развалины «Файр-Квин», которой командовал Джонс. Командование он получил чисто случайно – от Матерсона, сумасшедшего Матерсона, как его обычно называли; того самого, что, бывало, болтался в Хай-Понге до оккупации.

Старик снова загнусавил:

– Да, сэр, уж здесь-то во всяком случае будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ – ни «благодарю вас!», ни «убирайтесь к черту!» – ничего! Может быть, они вовсе не хотели о нем слышать.

Вид этого старого Джонса с водянистыми глазами, вытирающего лысую голову красным бумажным платком, тоскливое твяканье собаки, грязь засиженной мухами каюты – ковчега воспоминаний об умершем – все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайерли: посмертное мщение судьбы за эту веру в его собственное великолепие – веру, которая почти обманула жизнь со всеми ее повседневными ужасами. Почти! Быть может, и вполне. Кто знает, с какой лестной для него точки зрения рассматривал он собственное свое самоубийство?

– Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он покончил с собой? – спросил Джонс, сжимая ладони. – Почему? Это превосходит мое понимание.

Он хлопнул себя по низкому морщинистому лбу.

– Если бы он был беден, стар, увяз в долгах... неудачник... или сошел с ума... Но он был не из тех, что сходят с ума; э, нет, можете мне поверить! Чего помощник не знает о своем шкипере, того и знать не стоит. Молодой, здоровый, обеспеченный, никаких забот... Вот я сижу здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не загудит. Ведь была же какая-то причина.

– Можете быть уверены, капитан Джонс, – сказал я, – причина была не из тех, что могут потревожить нас с вами.

И тут словно свет озарил затемненный рассудок бедного Джонса: напоследок старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался, скорбно закивал мне головой и сказал:

– Да, да! Ни вы, ни я, сэр, никогда столько о себе не думали.

Конечно, воспоминания о последнем моем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его самоубийстве, так скоро за этим разговором последовавшем. В последний раз я говорил с ним в тот период, когда разбиралось дело. После первого заседания мы вместе вышли на улицу. Он был раздражен, что я отметил с удивлением: снисходя до беседы, он всегда бывал совершенно хладнокровен и относился к своему собеседнику с какой-то веселой терпимостью, словно самый факт его существования считал забавной шуткой.

– Они заставили меня принять участие в разборе дела, – начал он, а затем стал жаловаться на неудобство ходить днем в суд. – Одному богу известно, сколько времени это протянется. Дня три, я думаю.

Я слушал его молча.

– Что толку? Это глупейшее дело, какое только можно себе представить, – продолжал он с жаром.

Я заметил, что отказаться он не мог. Он перебил меня с каким-то сдержанным бешенством:

– Все время я чувствую себя дураком.

Я поднял на него глаза. Это было уже слишком – для Брайерли, говорящего о самом себе. Он остановился, ухватил меня за лацкан пиджака и тихонько потянул.

– Зачем мы терзаем этого молодого человека? – спросил он.

Этот вопрос так созвучен был с похоронным звоном моих мыслей, что я отвечал тотчас же, мысленно представив себе улизнувшего ренегата:

– Пусть меня повесят, если я знаю, но он сам идет на пытку.

Я был изумлен, когда он заговорил мне в тон и произнес фразу, которой следовало быть до известной степени загадочной:

– Ну да. Разве он не понимает, что его негодяй-шкипер улизнул? Чего же он ждет? С ним кончено.

Несколько шагов мы прошли в молчании.

– Зачем жрать всю эту грязь? – воскликнул он, употребляя энергичное восточное выражение – пожалуй, единственное проявление энергии на Востоке, на пятидесятом меридиане.

Я подивился течению его мыслей, но теперь считаю это вполне естественным: бедняга Брайерли думал, должно быть, о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер «Патны» устелил свое гнездышко пухом и мог всюду раздобыть денег, чтобы удрать. С Джимом дело обстояло иначе: власти временно поместили его в «Доме для моряков», и, по всему вероятно, у него в кармане не было ни единого пенни. Нужно иметь некоторую сумму денег, чтобы удрать.

– Нужно ли? Не всегда, – сказал он с горьким смешком.

Я сделал еще какое-то замечание, а он ответил:

– Ну так пускай он зароется на двадцать футов в землю и там остается! Клянусь небом, я бы это сделал!

Почему-то его тон задел меня, и я сказал:

– Есть своего рода мужество в том, чтобы выдержать это до конца, как делает он. А ведь ему хорошо известно, что никто не потрудится его преследовать, если он удержит.

– К черту мужество! – проворчал Брайерли. – Такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути, и я его в грош не ставлю. Вам следовало бы сказать, что это своего

рода трусость, дряблость. Вот что я вам скажу: я дам двести рупий, если вы приложите еще сотню и уговорите парня убраться завтра поутру. Он производит впечатление порядочного человека – он поймет. Должен понять! Слишком отвратительна эта огласка: можно сгореть со стыда, когда серанги и все матросы дают показания. Омерзительно! Неужели вы, Марлоу, не чувствуете, как это омерзительно? Вы, моряк? Если он скроется, все это прекратится.

Брайерли произнес эти слова с необычным оживлением и потянулся за бумажником.

Я остановил его и холодно заявил, что, на мой взгляд, трусость этих четверых не имеет такого большого значения.

– А еще называете себя моряком! – гневно воскликнул он.

Я сказал, что действительно называю себя моряком и – смею надеяться – не ошибаюсь. Он выслушал и сделал рукой жест, который словно лишал меня моей индивидуальности и смешивал с толпой.

– Хуже всего то, – объявил он, – что у вас, господа, нет чувства собственного достоинства. Вы не думаете о том, что должны собой представлять.

Все это время мы медленно шли вперед и теперь остановились против управления порта, неподалеку от того места, где необъятный капитан «Патны» исчез, как крохотное перышко, подхваченное ураганом. Я улыбнулся. Брайерли продолжал:

– Это позор. Конечно, в нашу среду попадают всякие, среди нас бывают и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт возьми, сохранять профессиональное достоинство, если не хотим превратиться в бродячих торгашей! Нам доверяют. Понимаете – доверяют! По правде сказать, мне нет дела до всех этих паломников, отправляющихся в Азию, но порядочный человек не поступил бы так, даже если бы судно было нагружено тюками лохмотьев. Подобные поступки подрывают доверие. Человек может прожить всю свою жизнь на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если опасность встретишь... Да!.. Если бы я...

Он оборвал фразу и заговорил другим тоном:

– Я вам дам двести рупий, Марлоу, а вы поговорите с этим парнем. Черт бы его побрал! Хотел бы я, чтобы он никогда сюда не являлся. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Его отец – приходской священник. Помню, я встретил его однажды в прошлом году, когда жил у своего двоюродного брата в Эссексе. Если не ошибаюсь, старик был без ума от своего сына-моряка. Ужасно! Я не могу сделать это сам... Но вы...

Таким образом, благодаря Джиму, я на секунду увидел подлинное лицо Брайерли за несколько дней до того, как он доверил морю и себя самого, и свою личину. Конечно, я уклонился от вмешательства. Тон, каким были сказаны эти последние слова «но вы...» (у бедняги Брайерли это сорвалось бессознательно), казалось, намекал на то, что я достоин не большего внимания, чем какая-нибудь букашка, а в результате я с негодованием отнесся к его предложению и окончательно убедился в том, что судебное следствие является суровым наказанием для Джима и, подвергаясь ему – в сущности добровольно, – он как бы искупает до известной степени свое отвратительное преступление. Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем кажется теперь.

На следующий день, поздно явившись в суд, я сидел один. Конечно, я не забыл об этом разговоре с Брайерли, а теперь они оба – и Брайерли, и Джим – сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо-наглым, физиономия другого выражала презрительную скуку; однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе, а я знал, что физиономия Брайерли лжет. Брайерли не скучал – он был разгневан; следовательно, и Джим, быть может, вовсе не был наглым, что согласовалось с моей теорией. Я решил, что он потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним глазами.

Взгляд, какой он мне бросил, мог уничтожить желание с ним заговорить. Принимая любую гипотезу – бесстыдство или отчаяние, – я чувствовал, что ничем не могу ему помочь. То был второй день разбора дела. Вскоре после того, как мы обменялись взглядами, допрос был снова отложен на следующий день. Белые начали пробираться к выходу. Джиму еще раньше велели сойти с возвышения, и он мог выйти одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову на светлом фоне открытой двери. Пока я медленно шел к выходу, разговаривая с кем-то – какой-то незнакомый человек случайно ко мне обратился, – я мог видеть его из зала суда; облокотившись на балюстраду веранды, он стоял спиной к потоку людей, спускающемуся по ступеням. Слышались тихие голоса и шарканье ног.

Теперь должно было разбираться дело об избиении какого-то ростовщика. Обвиняемый – почтенный крестьянин с прямой белой бородой – сидел на циновке как раз за дверью; вокруг него сидели на корточках или стояли его сыновья, дочери, зятья, жены, – думаю, добрая половина деревни собралась здесь. Стройная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и тонким золотым кольцом, продетым в нос, вдруг заговорила пронзительным, крикливым голосом. Человек, шедший со мной, невольно поднял глаза. Мы уже вышли и очутились как раз за могучей спиной Джима.

Не знаю, эти ли крестьяне привели с собой желтую собаку. Как бы то ни было, но собака была налицо и, как и всякая туземная собака, украдкой шныряла между ногами проходящих. Мой спутник споткнулся об нее, она, не взвизгнув, отскочила в сторону, а незнакомец, слегка повысив голос, сказал с тихим смехом:

– Посмотрите на эту трусливую тварь!

Вслед за этим поток людей разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а незнакомец спустился по ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто повернулся. Он шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы были одни; он посмотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела; шум затих в зале суда; спустилось великое молчание, и только откуда-то издали донесся жалобный восточный голос. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась и начала ловить мух.

– Вы заговорили со мной? – очень тихо спросил Джим, наклоняясь вперед, словно наступая на меня.

Я тотчас же ответил:

– Нет.

Что-то в звуке этого спокойного голоса подсказало мне, что следует быть настороже. Я следил за ним. Это очень походило на встречу в лесу, только нельзя было предугадать исход, ибо ведь он не мог потребовать ни моих денег, ни моей жизни – ничего, что бы я попросту отдал либо стал сознательно защищать.

– Вы говорите нет, – сказал он, очень мрачный, – но я слышал.

– Какое-то недоразумение, – возразил я, ничего не понимая, но не сводя глаз с его лица. Я следил, как оно потемнело, словно небо перед грозой: тени незаметно набегали на него и таинственно сгущались в тишине перед назревающей вспышкой.

– Насколько мне известно, я не открывал рта в вашем присутствии, – заявил я правдиво. Нелепая стычка начинала меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент мне грозило избиение – настоящее избиение, когда в ход пускают кулаки. Думаю, я смутно ощущал эту возможность. Не то чтобы он по-настоящему мне угрожал. Наоборот, он был страшно пассивен, но он наклонялся, и хотя и не производил впечатления человека исключительно крупного, но, казалось, свободно мог прошибить стену. Однако я подметил и благоприятный симптом: Джим как будто глубоко задумался и стал колебаться; я это принял как дань моему неподдельно искреннему тону и манерам. Мы стояли друг против друга. В зале суда

разбиралось дело о нападении и избиении. Я уловил слова: «Буйвол... палка... в великом страхе...»

– Почему вы все утро на меня смотрели? – спросил наконец Джим. Он поднял глаза, потом снова уставился в пол.

– Вы думали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства? – отрезал я, не желая принимать покорно его нелепые выпады. Он снова поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо.

– Нет. Так оно и должно быть, – произнес он, словно взвешивая истину этого положения. – Так оно и должно быть. На это я иду. Но только, – тут он заговорил быстрее, – я никому не позволю оскорблять меня за судебными стенами. С вами был какой-то человек. Вы говорили с ним... о, да, я знаю, все это прекрасно. Вы говорили с ним, но так, чтобы я слышал...

Я заверил его, что он ошибается. Я понятия не имел, как это могло произойти.

– Вы думали, что я побоюсь ответить за оскорбление, – сказал он с легкой горечью.

Я был настолько заинтересован, что подмечал малейшие оттенки в выражении, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в этих словах – или, быть может, интонация этой фразы – побудило меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка перестала меня раздражать. Он заблуждался, произошло какое-то недоразумение, и я предчувствовал, что по характеру своему оно было отвратительно и неуместно. Мне не терпелось поскорей и возможно приличнее закончить эту сцену, как не терпится человеку оборвать непрощенное и омерзительное признание. Забавнее всего было то, что, предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я тем не менее ощущал некоторый трепет при мысли о возможной – весьма возможной – постыдной драке, для которой не подыщешь объяснений и которая сделает меня смешным. Я не стремился к тому, чтобы прославиться на три дня как человек, получивший синяк под глазом или что-либо в этом роде от помощника с «Патны». Он же, по всей вероятности, не задумывался над своими поступками и, во всяком случае, был бы оправдан в своих собственных глазах. Несмотря на его спокойствие и, я бы сказал, оцепенение, каждый бы заметил, что он был чрезвычайно чем-то рассержен. Не отрицаю, мне очень хотелось умиротворить его, если бы я только знал, как за это взяться. Но, как вы легко можете себе представить, я не знал. То был мрак без единого проблеска света. Молча стояли мы друг перед другом. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отразить удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул.

– Будь вы вдвое больше и вшестеро сильнее, – заговорил он очень тихо, – я бы вам сказал, что я о вас думаю. Вы...

– Стойте! – воскликнул я.

Это заставило его на секунду замолкнуть.

– Раньше чем говорить, что вы обо мне думаете, – быстро продолжал я, – будьте любезны сообщить мне, что я такое сказал или сделал.

Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, а я мучительно напрягал память, но мне мешал восточный голос из залы суда, бесстрастно и многословно возражавший против обвинения во лжи. Затем мы заговорили почти одновременно.

– Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет, – сказал он тоном, предвещающим кризис.

– Понятия не имею, – серьезно заявил я в то же время.

Он старался меня уничтожить презрительным взглядом.

– Теперь, когда вы видите, что я не боюсь, вы пытаетесь увернуться, – сказал он. –

Ну кто из нас трусливая тварь?

Тут только я понял.

Он всматривался в мое лицо, словно выискивая местечко, куда бы опустить кулак.

– Я никому не позволю... – забормотал он угрожающе.

Да, действительно, это было страшное недоразумение; он выдал себя с головой. Не могу вам передать, как я был потрясен. Должно быть, мне не удалось скрыть свои чувства, так как выражение его лица слегка изменилось.

– Боже мой! – пролепетал я. – Не думаете же вы, что я...

– Но я уверен, что не ослышался, – настаивал он и впервые с начала этой горестной сцены повысил голос. Потом с оттенком презрения добавил: – Значит, это были не вы? Отлично; я разыщу того, другого.

– Не глумите, – в отчаянии крикнул я, – это было совсем не то!

– Я слышал, – повторил он с непоколебимым и мрачным упорством.

Быть может, найдутся люди, которым покажется смешным такое упорство. Но я не смеялся. О нет! Никогда не встречал я человека, который бы выдал себя так безжалостно, поддавшись вполне естественному побуждению. Одно слово лишило его сдержанности – той сдержанности, которая для пристойности нашего внутреннего «я» более необходима, чем одежда для нашего тела.

– Не глумите, – повторил я.

– Но вы не отрицаете, что тот, другой, это сказал? – произнес он отчетливо и не мигая глядел мне в лицо.

– Нет, не отрицаю, – сказал я, выдерживая его взгляд.

Наконец он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понял, потом остолбенел, наконец на лице его отразилось изумление и испуг, словно собака была чудовищем, а он впервые увидел собаку.

– Ни у кого и в мыслях не было оскорблять вас, – сказал я.

Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние; насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг, как автомат, щелкнула зубами, целясь на пролетавшую муху.

Я посмотрел на него. Румянец на его загорелых щеках внезапно потемнел и залил лоб до самых корней вьющихся волос. Уши порозовели, и даже светлые голубые глаза стали темнее от прилива крови к голове. Губы слегка оттопырились и задрожали, словно он вот-вот разразится слезами. Я заметил, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением. Быть может, и разочарованием – кто знает? Возможно, он хотел этой потасовки, которой намеревался меня угостить, для своей реабилитации и успокоения? Кто знает, какого облегчения он ждал от этой возможной драки? Он был так наивен, что мог ждать чего угодно; но в данном случае он выдал себя с головой совершенно напрасно. Он был искренен с самим собой – не говоря уже обо мне – в своей безумной надежде добиться таким путем какого-то существенного опровержения, а насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, полуоглушенный ударом по голове. Жалко было смотреть на него.

Я нагнал его далеко за воротами. Мне даже пришлось пуститься рысцой, но, когда я, запыхавшись, поравнялся с ним и заговорил о бегстве, он сказал: «Никогда!» – и тотчас же занял оборонительную позицию. Я объяснил, что отнюдь не хотел сказать, будто он бежит от меня.

– Ни от кого... ни от кого на свете, – заявил он упрямо.

Я удержался и не сказал ему об одном-единственном исключении из этого правила – исключении, приемлемом для самых храбрых из нас. Думалось, что он и сам скоро это поймет. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, что бы ему сказать, но в тот момент мне ничего не приходило на ум, и он снова зашагал вперед. Я не отставал и, не желая отпустить его, торопливо заговорил о том, что мне бы не хотелось оставлять его под ложным впечатлением моего... моего... Я запнулся. Глупость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз ничего общего не имеет с их смыслом или с логикой их

конструкций. Мой идиотский лепет, видимо, ему понравился. Он оборвал его, сказав с вежливым спокойствием, свидетельствующим о безграничном самообладании или же удивительной эластичности настроений:

– Всецело моя ошибка...

Я подивился этому выражению: казалось, он намекал на какой-то пустячный случай. Неужели он не понял его позорного значения?

– Вы должны простить меня, – продолжал он и хмуро добавил: – Все эти люди, тарасившие на меня глаза там, в суде, казались такими дураками, что... что могло быть и так, как я предположил.

Эта фраза изумила меня. Я посмотрел на него с любопытством и встретил его взгляд, непроницаемый и нимало не смущенный.

– С подобными выходками я не могу примириться, – сказал он очень просто, – и не хочу. В суде иное дело: там мне приходится это выносить – и я выношу.

Не могу сказать, чтобы я его понимал. То, что он мне показывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь живые и исчезающие детали, не дающие представления о пейзаже. Они питают любопытство человека, не удовлетворяя его; ориентироваться по ним нельзя. В общем, он сбивал с толку. Вот к какому выводу я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я остановился на несколько дней в отеле «Малабар», и он принял мое настойчивое приглашение пообедать вместе.

## Глава VII

В тот день отправлявшееся за границу почтовое судно прибыло в порт, и в большой столовой отеля добрая половина столиков была занята людьми с кругосветными билетами ценой в сто фунтов в карманах. Были тут супружеские пары, видимо соскучившиеся за время путешествия, были и люди, путешествующие компанией, были и одинокие субъекты, торжественно обедающие или шумно пирующие, но все эти люди думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь так, как привыкли это делать у себя дома; и на новые впечатления они отзывались так же, как и их багаж наверху. Отныне они вместе со своим багажом будут отмечены ярлыком как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Они будут дрожать над этим своим отличием и сохранять приклеенные к чемоданам ярлыки как документальное доказательство, как единственный неизгладимый след путешествия.

Темнолицые слуги бесшумно скользили по натертому полу; изредка раздавался девичий смех, наивный и пустой, как сама девушка, или, когда затихал стук посуды, доносились слова, произнесенные в нос остряком, который расписывал ухмыляющимся сотрапезникам последний забавный скандал на борту судна. Две кочующие старые девы в сногсшибательных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами; эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороны пугала.

Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хороший, это я заметил. Казалось, он похоронил где-то эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно это было нечто такое, о чем никогда больше не будет речи. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, прямо на меня смотревшие, это молодое лицо, могучие плечи, открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней вьющихся белокурых волос; его вид пробуждал во мне симпатию – это открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Он был порядочным человеком, – одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью и с тем спокойствием, какого можно достигнуть мужественным самообладанием или бесстыдством, бесчувственностью, безграничной наивностью или страшным самообманом. Кто знает? Судя по нашему тону могло показаться, что мы рассуждаем о ком-то постороннем, о футбольном матче, о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в море догадок, но тут разговор пошел по новому руслу, и мне удалось, не оскорбляя Джима, заметить, что следствие, несомненно, было для него мучительным. Он схватил меня за руку – моя рука лежала на скатерти подле тарелки – и впился в меня глазами. Я был испуган.

– Должно быть, это ужасно неприятно, – пробормотал я, смущенный таким безмолвным проявлением чувств.

– Это адская пытка! – воскликнул он заглушенным голосом.

Это движение и эти слова заставили двух франтоватых путешественников, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от их замороженного пудинга. Я встал, и мы вышли на галерею, где нас ждали кофе и сигары.

На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками; вокруг стояли удобные плетеные стулья; столики отделялись друг от друга какими-то кустами с жесткими листьями; между колоннами, на которые падал красноватый отблеск света из высоких окон, ночь, мерцающая и мрачная, казалось, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мигали вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на округлые черные массы застывших грозовых туч.

– Я не мог удрать, – начал Джим. – Шкипер удрал – так ему и полагалось сделать. А я не мог и не хотел... Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось.

Я слушал с напряженным вниманием, не смея шелохнуться; я хотел знать – но и по сей день не знаю, могу только догадываться. Он был доверчивым и в то же время сдержанным, словно убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде всего он заявил таким тоном, словно подтверждал свое бессилие перескочить через двадцатифутовую стену, что никогда не сможет вернуться домой; это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли: «Если не ошибаюсь, этот старик-пастор в Эссексе без ума от своего сына-моряка».

Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что был любимцем отца, но тон, каким он отзывался «о своем папе», был рассчитан на то, чтобы я представил себе старого деревенского пастора самым прекрасным человеком из всех, кто когда-либо был обременен заботами о большой семье. Это хотя сказано и не было, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима была очаровательна, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там, очень далеко.

– Теперь он уже знает обо всем из газет, – сказал Джим. – Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком.

Я не смел поднять глаз, пока он не добавил:

– Я никогда не смогу объяснить. Он бы не понял.

Тут я посмотрел на него. Он задумчиво курил, потом, немного погодя, встрепенулся и заговорил снова. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с сообщниками в... ну, скажем... в преступлении. Он не из их компании; он совсем из другого теста. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось во имя бесплодной истины лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости. Я не знал, до какой степени он сам в это верит. Я не знал, какую он вел игру – если он вообще вел какую-нибудь игру; подозреваю, что и он этого не знал. Я убежден, что ни один человек не может вполне понять собственные свои уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не издал ни звука, пока он размышлял о том, что ему делать, когда закончится «это дурацкое следствие».

Видимо, он разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он не знал, куда деваться, и сообщил об этом скорее размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Диплом будет отнят, карьера разбита, нет денег, чтобы уехать, никакого места не предвидится. На родине, пожалуй, и можно было бы что-нибудь подучить, – иными словами, следовало обратиться к родным за помощью, а этого он ни за что не сделал бы. Ему ничего не оставалось, как поступить простым матросом; может быть, ему удалось бы получить место боцмана на каком-нибудь пароходе. Он мог бы быть боцманом.

– Думаете, могли бы? – безжалостно спросил я.

Он вскочил и, подойдя к каменной балюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду вернулся и остановился передо мной; его юношеское лицо было еще омрачено болью, порожденной эмоцией, которую он задушил. Он прекрасно понимал, что я не сомневаюсь в его способности стоять у штурвала. Слегка дрожащим голосом он спросил меня, почему я это сказал? Я был «так добр» к нему. Я даже не посмеялся над ним, когда... тут он запнулся... «когда произошло это недоразумение... и я свалил такого дурака».

Я перебил его и с жаром заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и, задумчиво потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна.

– Но я ни на секунду не допускаю, что эта кличка мне подходила, – отчетливо сказал он.

– Да? – спросил я.

– Да, – подтвердил он спокойно и решительно. – А вы знаете, что сделали бы вы? Знаете? И ведь вы не считаете себя... – тут он что-то проглотил, – ...не считаете себя трусом... трусливой тварью?!

И тут он – клянусь честью – вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, то был вопрос – вопрос *bonâ-fide*<sup>5</sup>. Однако ответа он не ждал. Раньше, чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая письма, начертанные на лице ночи.

– Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не был готов... тогда. Я не хочу оправдываться, но мне хотелось бы объяснить... чтобы кто-нибудь понял... кто-нибудь... хоть один человек! Вы! Почему бы не вы?

Это было торжественно и чуточку смешно. Так бывает всегда, когда человек мучительно пытается сохранить свое представление о том, каким должно быть его «я». Это представление условно – одно из правил игры, не больше, – и, однако, оно имеет великое значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение.

Он начал свой рассказ довольно спокойно. На борту парохода, который подобрал этих четверых, плывших в лодке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первого же дня стали смотреть косо. Толстый шкипер рассказал какую-то историю, остальные молчали, и сначала эта версия была принята. Вы не станете подвергать перекрестному допросу людей, потерпевших крушение, которых вам посчастливилось спасти если не от страшной смерти, то во всяком случае от жестоких мучений. Затем, когда уже было время подумать, капитану и помощникам с «Эвонделя», должно быть, пришло в голову, что в этой истории есть что-то неладное; но свои сомнения они, конечно, оставили при себе.

Они подобрали капитана, помощника и двух механиков с затонувшего парохода «Патна», и этого с них было достаточно. Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, какие провел на борту «Эвонделя». Судя по тому, как он рассказывал, я свободно мог заключить, что он был ошеломлен сделанным открытием – открытием, лично его касавшимся, – и, несомненно, пытался его объяснить единственному человеку, который способен был оценить все потрясающее величие этого открытия. Вы должны понять, что он отнюдь не старался умалить его значение. В этом я уверен; и тут-то и коренится то, что отличало Джима от остальных. Что же касается эмоций, какие он испытал, когда сошел на берег и услышал о непредвиденном завершении истории, в которой сыграл такую жалкую роль, – то о них он мне ничего не сказал, и это трудно себе представить.

Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать... Но, несомненно, ему скоро удалось найти себе новую опору. Он прожил на берегу целых две недели в «Доме для моряков»; в то время там жили еще шесть или семь человек, и я кое-что слышал о нем от них. Их мнение сводилось к тому, что, помимо прочих его недостатков, он был угрюмой скотиной. Все свое время там он проводил на веранде, забившись на кушетку, и выходил из своего убежища лишь в часы еды или поздно вечером, когда отправлялся бродить по набережной в полном одиночестве, оторванный от всех, нерешительный и молчаливый, словно бездомный призрак.

– Кажется, я за все это время ни единой живой душе не сказал и двух слов, – заметил он, и мне стало его очень жаль; тотчас же он добавил: – Один из тех парней непременно выпалил бы что-нибудь такое, с чем я бы не мог примириться, а ссоры я не хотел. Да! Тогда не хотел. Я был слишком... слишком... Мне было не до ссор.

– Значит, та переборка в трюме все-таки выдержала, – беззаботно сказал я.

– Да, – прошептал он, – выдержала. Однако я могу вам поклясться, что чувствовал, как она качалась под моей рукой.

– Удивительно, какой сильный напор может иногда выдержать старое железо, – сказал я.

---

<sup>5</sup> Вполне искренно (*лат.*).

Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, он несколько раз кивнул головой. Трудно представить себе более грустное зрелище. Вдруг он поднял голову, выпрямился, хлопнул себя по бедру.

– Ах, какой случай упущен! Боже мой! Какой случай упущен! – воскликнул он, и это последнее слово «упущен» прозвучало словно крик, исторгнутый болью.

Он снова замолчал и уставился в пространство, жадно призывая этот упущенный случай отличиться; на секунду ноздри его раздулись, словно он втягивал пьянящий аромат этой неиспользованной возможности. Если вы думаете, что я был удивлен или шокирован, вы очень ко мне несправедливы. Ах, это был парень, наделенный фантазией! Его взгляд уходил в ночь, и по его глазам я видел, что он стремительно рвется вперед, туда, в фантастическое царство безрассудного героизма. Ему некогда было сожалеть о том, что он потерял, – слишком он был озабочен тем, что ему не удалось получить. Он был очень далеко от меня, сидевшего на расстоянии трех футов. С каждой секундой он все глубже уходил в мир несбыточных романтических достижений. Наконец он проник в самое его сердце! Странное блаженство осветило его лицо, глаза сверкнули при свете свечи, горевшей между нами; он улыбнулся! Он проник в самое сердце – в самое сердце. То была улыбка экстаза, – мы с вами, друзья мои, никогда не будем так улыбаться. Я вернул его на землю словами:

– Если б вы не покинули судна... Вы это хотели сказать?

Он повернулся ко мне, и взгляд его был растерянный, полный муки, лицо недоуменное, испуганное, страдальческое, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я ни на кого не будем так глядеть. Он сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца. Потом вздохнул.

Я не был в милостивом настроении. Он провоцировал меня своими противоречивыми признаниями.

– Печально, что вы не знали раньше! – сказал я с недобрым намерением. Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, – упала к его ногам, не достигнув цели, а он не подумал о том, чтобы ее поднять. Быть может, даже и не видал ее. Развалившись на стуле, он сказал:

– Черт возьми! Говорю вам, она шаталась. Я поднимал лампу вдоль железного клина, там, внизу, когда куски ржавчины величиной с мою ладонь упали с переборки. – Он провел рукой по лбу. – Переборка дрожала и шаталась, словно что-то живое, когда я смотрел на нее.

– И тут вы почувствовали себя скверно, – заметил я вскользь.

– Неужели вы полагаете, – сказал он, – что я думал о себе, когда за моей спиной спали крепким сном сто шестьдесят человек – на носу, между деками? А на корме их было еще больше... и на палубе... Спали, ни о чем не подозревая... Людей было втрое больше, чем могло уместиться на лодках, даже если б и было время спустить их. Я ждал, что железная переборка на моих глазах прорвется и поток воды зальет их, спящих... Что было мне делать, что?

Мне легко было представить себе, как он стоял во мраке, а свет круглого фонаря падал на маленький кусок переборки, которая выдерживала тяжесть всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я видел, как он смотрел на железную стену, испуганный падающими кусками ржавчины, придавленный знаменем неминуемой смерти. То было, как я понял, тогда, когда его вторично послал на нос шкипер, желавший, вероятно, удалить его с мостика. Джим сказал мне, что первым его побуждением было крикнуть и, пробудив всех этих людей, сразу повергнуть их в ужас; но сознание своей беспомощности так его придавило, что он не в силах был издать ни единого звука. Вот что, должно быть, подразумевается под словами «язык прилип к гортани».

«Высохло все во рту», – так описал Джим это состояние. Безмолвно выбрался он на палубу через люк номер первый. Виндзейль, свешивавшийся вниз, случайно задел его по лицу, и от легкого прикосновения парусины он едва не слетел с трапа.

Джим признался, что ноги его подкашивались, когда он вышел на фордек и поглядел на спящую толпу. К тому времени остановили машины и стали выпускать пар. От этой глухой воркотни ночь вибрировала, словно басовая струна, и судно отвечало дрожью.

Кое-где голова приподнималась с циновки, смутно вырисовывалась фигура сидящего человека; секунду он сонно прислушивался, потом снова ложился среди нагроможденных ящиков, паровых воротов, вентиляторов. Джим знал: все эти люди были недостаточно осведомлены, чтобы понять значение странного шума. Железное судно, люди с белыми лицами, все предметы, все звуки – все на борту казалось этой невежественной и благочестивой толпе одинаково странным и столь же надежным, как и непонятным. Ему пришло в голову, что это обстоятельство можно назвать счастливым. Такая мысль была поистине ужасна.

Не забудьте: он верил – как верил бы всякий на его месте, – что судно должно затонуть с минуты на минуту. Шатающаяся, изъеденная ржавчиной переборка, которая противостояла напору океана, должна была рухнуть – внезапно, как минированная дамба, – и впустить поток воды. Он стоял неподвижно, глядя на эти распростертые тела, – обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий молчаливое сборище мертвецов. Они были мертвы! Ничто не могло их спасти. В лодках едва ли разместилась бы половина, но и для этого времени не было. Не было времени! Бессмысленным казалось разжать губы, шевельнуть рукой или ногой. Раньше чем он успеет крикнуть три слова или сделать три шага, он уже будет барахтаться в море, которое покроется пеной от отчаянных усилий тонущих людей и огласится воплями о помощи. Помощи быть не могло. Он прекрасно представлял себе, что именно случится; он пережил это, неподвижно стоя с фонарем в руке возле люка, – пережил все, вплоть до самой последней мучительной детали. Думаю, он переживал это вторично, когда рассказывал мне то, о чем не мог говорить в суде.

– Я видел ясно – так же, как вижу вас сейчас, – что делать мне нечего. Жизнь как будто уже шла от меня. Я мог бы стоять на месте и ждать. Я не думал, что у меня оставалось еще много секунд...

Вдруг выпуск пара прекратился. Шум, по словам Джима, тревожил, но эта внезапная тишина казалась невыносимо гнетущей.

– Я думал, что задохнусь раньше, чем утону, – сказал он. Затем заявил, что не думал о своем спасении.

В его мозгу всплывала, исчезала и снова всплывала одна только отчетливая мысль: восемьсот человек и семь лодок... восемьсот человек и семь лодок.

– Словно чей-то голос нашептывал мне, – взволнованно проговорил он. – Восемьсот человек и семь лодок... и нет времени! Вы только подумайте.

Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался избежать его взгляда.

– Вы думаете, я боялся смерти? – спросил он голосом очень напряженным и тихим. Он ударил ладонью по столу, и от этого удара запрыгали кофейные чашки. – Я готов поклясться, что не боялся – нет... Клянусь богом, нет!

Он выпрямился и скрестил на груди руки; подбородок его опустился на грудь.

Через высокие окна слабо доносился до нас стук посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышли несколько человек в прекрасном настроении. Они обменивались шутками, вспоминая катанье на осях в Каире. Бледный боязливый длинноногий юноша разговаривал с краснолицым чванным путешественником, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре.

– Нет, в самом деле, вы думаете, что я был так испуган? – осведомился Джим очень серьезно и решительно.

Компания размещалась за столиками; вспыхивали спички, на секунду освещая невыразительные лица и пошлый блеск белых манишек; жужжание разговаривающих людей, разгорячившихся после обеда, казалось мне нелепым и бесконечно далеким.

– Несколько человек из команды спали на люке номер первый, в двух шагах от меня, – снова заговорил Джим.

Заметьте, что на этом судне на вахте стояли калашаи<sup>6</sup>, команда спала всю ночь, и будили только тех, кто сменял дежурных у нактоуза, вахтенных и рулевого. Джим почувствовал искушение схватить за плечо ближайшего матроса и растолкать его, но не сделал этого. Что-то удержало его руку. Он не боялся – о, нет! – просто он не мог – вот и все. Быть может, он не боялся смерти, но, говорю вам, его пугала паника. Его проклятая фантазия нарисовала жуткое зрелище паники, стремительное бегство, душераздирающие вопли, перевернутые лодки – все самые страшные картины катастрофы на море, о каких он когда-либо слышал. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он хотел умереть, не видя кошмарных сцен, – умереть спокойно, в трансе. Известная готовность умереть наблюдается довольно часто, но редко встретите вы человека, облеченного в стальную непроницаемую броню решимости, который будет вести безнадежную борьбу до последней минуты: тяга к покою усиливается по мере того, как тает надежда, и побеждает наконец даже жажду жить. Кто из нас не наблюдал такого явления? Быть может, мы сами испытали нечто подобное этому чувству – крайнюю усталость, сознание бесполезности всяких усилий, страстную жажду покоя. Это хорошо известно тем, кто борется с безрассудными силами, – потерпевшим крушение и плывущим в лодках, путешественникам, заблудившимся в пустыне, людям, сражающимся с силами природы или бессмысленным зверством толпы.

---

<sup>6</sup> Небольшой народ, населяющий две долины в Пакистане.

## Глава VIII

Сколько времени стоял он неподвижно у люка, ожидая с секунды на секунду, что судно опустится под его ногами и поток воды ударит ему в спину и унесет как щепку, я не могу сказать. Не очень долго, – быть может, две минуты. Двое – он не мог их разглядеть – стали переговариваться сонными голосами; где-то слышалось шарканье ног. А над этими слабыми звуками нависла та страшная тишина, которая предшествует катастрофе, – жуткое затишье перед ударом. Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать наверх и перерезать все тали так, чтобы лодки не затонули, когда судно пойдет ко дну.

На «Патне» был длинный мостик, и все лодки находились наверху – четыре с одной стороны и три с другой, самые маленькие на левом борту, против рулевого аппарата. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю. Больше всего он заботился о том, чтобы в нужный момент лодки были наготове. Свой долг он знал и в этом смысле, полагаю, был хорошим помощником.

– Я всегда считал, что нужно быть готовым к худшему, – пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо.

Я кивком одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с человеком, в котором чудилось мне что-то болезненное.

Он бросился бегом. Колени у него подгибались. Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, перепрыгивать через головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, подле него раздался измученный голос. Свет фонаря, который он держал в правой руке, упал на темное лицо, обращенное к нему, глаза молили так же, как и голос. Джим достаточно усвоил язык, чтобы понять слово «вода», это слово было сказано несколько раз тоном настойчивым, умоляющим – почти с отчаянием. Он рванулся, чтобы высвободиться, и почувствовал, как рука обхватила его ногу.

– Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, – выразительно сказал Джим. – Вода, вода! О какой воде он говорил? Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, время не ждало, люди кругом начинали шевелиться. Мне нужно было время – время, чтобы перерезать канаты лодок. Теперь он овладел моей рукой, и я чувствовал, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль, что этого будет довольно, чтобы поднять панику, и я размахнулся свободной рукой и ударил его по лицу. Стекло зазвенело, свет погас, но удар заставил его выпустить меня, и я пустился бежать – я хотел добраться до лодок... я хотел добраться до лодок. Он прыгнул на меня сзади. Я повернулся к нему. Нельзя было заткнуть ему глотку, он пытался кричать. Я чуть не задушил его раньше, чем понял, чего он хочет. Он просил воды – воды напиться; видите ли, пассажиры получали умеренную порцию воды, а с ним был маленький мальчик, которого я несколько раз видел. Ребенок был болен – хотел пить, – и отец, заметив меня, когда я проходил мимо, попросил воды. Вот и все. Мы находились под мостиком, в тесноте. Он все цеплялся за мои руки, невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему в руки. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хочется пить.

Он оперся на локоть и прикрыл глаза рукой.

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине; что-то странное было во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшей глаза, чуть-чуть дрожали. Он прервал короткое молчание:

– Такое случается лишь один раз в жизни. Ну ладно! Когда я добрался наконец до мостика, негодяи спускали одну из лодок с баков. Лодку! Когда я взбегал по трапу, кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев голову. Это меня не остановило, и пер-

вый механик – к тому времени они подняли его с койки – снова замахнулся подножкой с лодки. Почему-то я был так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным – и ужасным... ужасным. Я увернулся от несчастного маньяка и поднял его над палубой, словно он был малым ребенком, а он зашептал, пока я держал его на руках: «Не надо! Не надо! Я вас принял за одного из этих...» Я отшвырнул его, он полетел на мостик и покотился под ноги тому маленькому парнишке – второму механику. Шкипер, возившийся у лодки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не шевельнулся и стоял как каменный. Я стоял так же неподвижно, как эта стена.

Он легонько ударил суставом пальца по стене у своего стула.

– Было так, словно все это я уже видел, слышал, пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я опустил кулак, а он остановился, бормоча: «А, это вы! Помогите нам. Живее!» Вот все, что он сказал. Живее! Словно можно было успеть! «Вы хотите что-то сделать?» – спросил я. «Да. Убраться отсюда», – огрызнулся он через плечо. Кажется, тогда я не понял, что именно он имел в виду. К тому времени те двое поднялись на ноги и вместе бросились к шлюпке. Они топтались, пыхтели, толкали, проклинали шлюпку, судно, друг друга, проклинали меня. Вполголоса. Я не шевелился, молчал. Я смотрел, как накрывается судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках, в сухом доке, но держалось оно вот так. – Он поднял руку ладонью вниз и согнул пальцы.

– Вот так, – повторил он. – Я ясно видел перед собой линию горизонта над верхушкой форштевня; я видел воду там, вдали, черную, сверкающую и неподвижную, словно в заводи; таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог это вынести. Видали вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржавого, чтобы можно было его подпереть? Видали? О да – подпереть! Я об этом думал, – я думал решительно обо всем; но можете вы подпереть в пять минут переборку... или хотя бы в пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься туда, вниз? А дерево... дерево! Хватило бы у вас мужества ударить молотком, если бы вы видели эту переборку? Не говорите, что вы бы это сделали, – вы ее не видели; никто бы не сделал. Черт возьми! Чтобы сделать такую штуку, вы должны верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный; а вы бы не могли поверить. Никто бы не поверил. Вы думаете, я трус, потому что стоял там, ничего не делая, но что бы сделали вы? Что? Вы не можете сказать, никто не может. Нужно иметь время, чтобы оглядеться. Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых я один не мог спасти, – которых ничто не могло спасти? Слушайте! Это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами...

После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня, словно в тревоге не переставал наблюдать за эффектом своей речи. Не ко мне он обращался, – он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его существования – совладельцем его души. То было следствие, которое не судьям вести! То был тонкий и важный спор об истинной сущности жизни, и присутствие судьбы было излишне. Джим нуждался в союзнике, сообщнике, соучастнике. Я почувствовал, какому риску себя подвергаю: он мог меня обойти, ослепить, обмануть, запугать, быть может, чтобы я принял решительное участие в диспуте, где никакое решение невозможно, если хочешь быть честным по отношению ко всем призракам – как почтенным, имеющим свои права, так и постыдным, предъявляющим свои требования. Я не могу объяснить вам, его не выдавшим и лишь слушающим его слова от третьего лица, – не могу объяснить характер своих чувств. Казалось, меня вынуждали понять непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такого ощущения. Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи.

Он апеллировал сразу к двум лицам – к лицу, всегда обращенному к дневному свету, и к тому лицу, какое у всех нас – подобно другому полушарию луны – обращено к вечной тьме и лишь изредка видит пугливый пепельный свет. Он заставлял меня колебаться. Я признаюсь в этом, каюсь. Случай был незначительный, если хотите: погибший юноша, один из миллиона, – но ведь он был одним из нас; инцидент, лишенный всякого значения, подобно наводнению в муравейнике, и тем не менее тайна его поведения приковала меня, словно он был представителем своей породы, словно темная истина была настолько важной, что могла повлиять на представление человечества о самом себе...

Марлоу приостановился, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, позабыл о своем рассказе; потом неожиданно снова заговорил:

– Конечно, моя вина! Действительно, нечем было интересоваться. Это моя слабость. Его слабость иного порядка. Моя же заключается в том, что я не вижу случайного, внешнего, – не делаю различия между мешком тряпичника и тонким бельем первого встречного. Первый встречный! Вот именно! Я видел столько людей; с иными я близко соприкасался – все равно как с этим парнем, – и всякий раз я видел перед собой лишь человеческое существо. У меня проклятое демократическое зрение; быть может, это лучше полной слепоты, но никакой выгоды от этого нет – могу вас уверить. Люди ждут, чтобы принимали во внимание их тонкое белье. Но я никогда не мог с энтузиазмом относиться к таким вещам. О, это ошибка. Это ошибка! А потом, в тихий вечер, когда компания слишком разленилась, чтобы играть в вист, приходит время и для рассказа...

Марлоу снова приостановился, быть может, ожидая ободряющего замечания, но все молчали, только хозяин, как бы с неохотой выполняя долг, прошептал:

– Вы так утонченны, Марлоу.

– Кто? Я? – тихо сказал Марлоу. – О нет! Но он – Джим – был утонченным; и как бы я ни старался получше рассказать эту историю, я все равно пропускаю множество оттенков – они так тонки, так трудно передать их бесцветными словами. А он усложнял дело еще и тем, что был так прост, бедняга!.. Клянусь Юпитером, он был удивительным парнем. Он говорил мне, что ни с чем не побоялся бы столкнуться, – это так же верно, как и то, что он сидел передо мной. И ведь он в это верил! Говорю вам, это было удивительно наивно... и грандиозно, грандиозно! Я наблюдал за ним исподтишка, словно заподозрил его в намерении меня взбесить.

Он был уверен, что по чести – заметьте, по чести! – ничто не могло его испугать. Еще с тех пор, как он был «вот таким, совсем мальчишкой», он готовился ко всем трудностям, с какими можно встретиться на суше и на море. Он с гордостью признавался в своей предусмотрительности. Он измышлял всевозможные опасности и способы обороны, ожидая худшего и накапливая силы. Должно быть, он всегда пребывал в состоянии экзальтации. Можете вы это себе представить? Ряд приключений, столько славы, такой победный путь! И каждый день своей жизни венчал он ощущением собственной своей пронизательности. Он забылся; глаза его сияли; и с каждым его словом мое сердце, опаленное его нелепостью, все сильнее сжималось. Мне было не до смеха, а чтобы не улыбнуться, я сделал каменное лицо. Он стал проявлять все признаки раздражения.

– Случается всегда неожиданное, – сказал я примирительным тоном. Моя тупость вызвала у него презрительное восклицание: «Ха!» Полагаю, он хотел этим сказать, что неожиданное не могло его затронуть; одно непостижимое могло одержать верх над его подготовленностью. Он был застигнут врасплох и шепотом проклинал море и небо, судно и людей. Все его предали!

Им овладела та высокомерная покорность, которая мешала ему пошевелить мизинцем, в то время как остальные трое, отчетливо уяснившие себе требования данной минуты, в отчаянии толкались и потели над шлюпкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, вто-

ропях они как-то ухитрились защемить болт переднего блока шлюпки и, поняв, чем грозит им оплошность, окончательно лишились рассудка. Должно быть, славное это было зрелище: бешеные усилия этих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в молчании спящего мира, боролись за освобождение шлюпки, ползали на четвереньках, вскакивали в отчаянии, толкались, ядовито огрызались друг на друга – на грани убийства, на грани слез, готовы были вцепиться друг другу в горло, а удерживал их только страх смерти, которая молча стояла за ними, словно непоколебимый и хладнокровный надсмотрщик. О да! Зрелище было недурное.

Он видел это все, мог говорить об этом с презрением и горечью; мельчайшие детали он воспринял каким-то шестым чувством, ибо клялся мне, что стоял в стороне и не смотрел ни на них, ни на шлюпку, – не бросил ни единого взгляда. И я ему верю. Думаю, он был слишком поглощен созерцанием грозно накренившегося судна, угрозой, возникшей в момент полной безопасности, – был зачарован мечом, висящим на волоске над его головой фантазера.

Весь мир застыл перед его глазами, и он легко мог себе представить, как взметнется вверх темная линия горизонта, поднимется внезапно широкая равнина моря – быстрый, спокойный подъем, зверский швырок, зияющая бездна, борьба без надежды, звездный свет, навеки смыкающийся над головой, словно свод sklepa, – мятеж юной жизни, черный конец. Он мог это себе представить! Клянусь, всякий бы мог! И не забудьте: он был законченным артистом в этой области, одаренным способностью быстро вызывать видения, предшествующие событиям. И зрелище, какое он вызвал, превратило его в холодный камень; но в мозгу его кружились в дикой пляске хромые, слепые, немые мысли – вихрь страшных калек. Говорю вам, он исповедовался мне, словно я наделен был властью отпускать и брать под стражу. Он опускался вглубь души, надеясь получить от меня отпущение, которое не принесло бы ему никакой пользы. То был один из тех случаев, когда самый священный обман не может принести облегчения, ни один человек не может помочь и даже Творец покидает грешника на произвол судьбы.

Он стоял на штирборте мостика, отойдя подальше от того места, где шла борьба за лодку. А борьбу вели с безумным возбуждением и втихомолку, словно заговорщики. Два малайца по-прежнему сжимали спицы штурвала. Вы только представьте себе действующих лиц в этом, слава богу, единственном эпизоде на море, – представьте себе этих четверых, обезумевших от яростных и тайных усилий, и тех троих, неподвижных зрителей. Они стояли на мостике, над тентом, скрывающим глубокое неведение нескольких сот усталых человеческих существ с их грезами и надеждами, задержанными невидимой рукой на грани гибели. Ибо я не сомневаюсь, что так оно и было: принимая во внимание состояние судна, нельзя себе представить большей опасности.

Те негодяи у лодки недаром обезумели от страха. Откровенно говоря, будь я там, я бы не дал и фальшивого фартинга за то, что судно продержится до конца следующей секунды. И все-таки оно держалось на воде! Эти спящие паломники были обречены совершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. Казалось, Всемогущий, в чье милосердие они верили, нуждался в их смиренном свидетельстве на земле и, глянув вниз, повелел океану: «Не тронь их!» Это спасение я считал бы загадочным и необъяснимым явлением, если б не знал, как выносливо может быть старое железо, – не менее выносливо, чем дух иных людей, с какими нам иногда приходится встречаться, людей, исхудавших как тени и несущих на своих плечах груз жизни. Не менее удивительно, на мой взгляд, и поведение двух рулевых. Их привезли из Эдена вместе с прочими туземцами дать показания на суде. Один из них, страшно застенчивый, с желтой веселой физиономией, был очень молод, а выглядел еще моложе. Помню, как Брайерли спросил его через переводчика, о чем он в то время думал, а переводчик, обменявшись с ним несколькими словами, внушительно заявил:

– Он говорит, что ни о чем не думал.

У другого были терпеливые мигающие глаза, а его косматую седую голову украшал красиво обернутый синий бумажный платок, полинявший от стирки; лицо у него было худое, с запавшими щеками; его коричневая кожа от сети морщин казалась еще темнее. Он объяснял, что подозревал о какой-то беде, постигшей судно, но никакого приказа не получал; он не помнит, чтобы ему отдавали какое-нибудь приказание; зачем же ему было бросать штурвал? Отвечая на следующие вопросы, он передернул тощими плечами и заявил: тогда ему и в голову не приходило, что белые собираются покинуть судно, боясь смерти. Он и теперь этому не верит. Могли быть какие-нибудь тайные причины. Он глубокомысленно замотал своей старой головой. Ага! Тайные причины. Он был человек с большим опытом и желал, чтобы этот белый тюан знал – тут он повернулся в сторону Брайерли, который не поднял головы, – знал, что он приобрел большие знания на службе у белых людей; много лет он служил на море. И вдруг, дрожа от возбуждения, он излил на нас – зачарованных слушателей – поток странно звучащих имен; то были имена давно умерших шкиперов, названия забытых местных судов, – звуки, знакомые и искаженные, словно рука немого времени стирала их в течение нескольких веков. Наконец его прервали. Спустилось молчание – молчание, длившееся по крайней мере минуту и мягко перешедшее в тихий шепот. Этот эпизод явился сенсацией второго дня следствия, затронув всю аудиторию, затронув всех, кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на этого необыкновенного и пагубного свидетеля, казалось, овладевшего какой-то таинственной теорией защиты.

Итак, эти два матроса остались у штурвала судна, остановившегося на своем пути; здесь и настигла бы их смерть, если бы такова была их судьба. Белые не одарили их ни единым взглядом, – быть может, позабыли об их существовании. Во всяком случае Джим о них не вспомнил. Он ничего не мог делать теперь, когда был один. И делать было нечего; оставалось лишь затонуть вместе с судном. Не стоило поднимать из-за этого суматохи. Не так ли? Он ждал, выпрямившись, молчаливый; его поддерживала мысль о какой-то героической рассудительности. Первый механик осторожно перебежал мостик и дернул Джима за рукав:

– Помогите же! Ради бога, идите и помогите!

Затем на цыпочках побежал к лодке, но тотчас же вернулся и снова уцепился за его рукав, умоляя и в то же время ругаясь.

– Кажется, он готов был целовать мне руки, – злобно сказал Джим, – а через секунду он зашептал с пеной у рта: «Будь у меня время, я бы с удовольствием проломил вам череп». Я оттолкнул его. Вдруг он обхватил меня за шею. Черт бы его побрал! Я его ударил. Ударил не глядя. Тогда он, всхлипывая, взмолился: «Не хочешь, что ли, себя самого спасти, проклятый ты трус!» Трус! Он назвал меня проклятым трусом! Ха-ха-ха! Он назвал меня... ха-ха-ха!..

Джим откинулся на спинку стула и весь трясся от смеха. Никогда я не слышал такого горького смеха. Он упал, словно зловещий туман, на все эти веселые разговоры об ослах, пирамидах, базарах... Затихли голоса людей, беседовавших на длинной, тускло освещенной галерее, бледные пятна лиц одновременно повернулись в нашу сторону, наступило такое глубокое молчание, что звон чайной ложки, упавшей на мозаичный пол веранды, прозвучал тонким серебристым воплем.

– Нельзя так смеяться при всех этих людях, – упрекнул его я. – Это не годится.

Он как будто меня не слышал, но затем поднял глаза и, пристально глядя мимо меня, словно всматриваясь в страшное видение, пробормотал небрежно:

– О, они подумают, что я пьян.

Затем он принял такой вид, как будто никогда больше не произнесет ни слова. Но не тут-то было! Он уже не мог остановиться, как не мог оборвать жизнь одним напряжением воли.

## Глава IX

– Я говорил мысленно: «Тони же, проклятое! Ступай ко дну!»

Этими словами он снова начал свой рассказ. Он хотел, чтобы все было кончено. Он остался совершенно один и, проклиная, взывал к судну в то же время, – насколько я могу судить, он наслаждался привилегией быть свидетелем жалкой комедии. Те все еще возились у болта. Шкипер отдал приказание:

– Подлезьте и постарайтесь поднять.

Остальные, естественно, противились. Вы понимаете, лежать, распластавшись под килем лодки, – положение не из приятных, если судно в эту минуту внезапно пойдет ко дну.

– Почему вы не лезете? Ведь вы самый сильный! – захихикал маленький механик.

– Проклятие! Я слишком толст, – в отчаянии пробормотал шкипер.

Зрелище было такое забавное, что ангелы могли заплакать. Секунду они стояли растерянные, и вдруг старший механик снова обратился к Джиму:

– Помогите же, старина! С ума вы, что ли, сошли? Ведь это же единственный шанс на спасение! Помогите! Посмотрите, посмотрите туда!

И наконец Джим посмотрел назад, в ту сторону, куда с настойчивостью маньяка показывал механик. Он увидел молчаливый черный шквал, уже поглотивший треть неба. Вы знаете, как налетают такие шквалы в это время года? Сначала вы видите, как темнеет горизонт, – и только; затем поднимается облако, плотное, как стена. Прямой край облака, обрамленный слабыми беловатыми отблесками, надвигается с юго-запада, поглощая звезды – одно созвездие за другим; тень его лежит над водой, и море и небо обволакиваются мраком. И все тихо. Ни грома, ни ветра, ни звука, ни проблеска молнии. Затем во мраке вселенной встает синеватая арка; проходят одна-две волны – кажется, будто мрак вздымается волнами, – и вдруг налетают ветер и дождь, ударяют с такой силой, словно через что-то твердое. Такая туча и надвинулась, пока они не смотрели на небо. Они только что ее заметили и сделали совершенно правильный вывод: если при абсолютном затишье у судна есть кое-какие шансы продержаться еще несколько минут на воде, то малейшее волнение тотчас же приведет к концу. Первая встреча с волной будет и последней; судно нырнет и будет опускаться все ниже, ниже, до самого дна. Вот чем объяснялись эти новые судороги страха, новые корчи, в которых изливали они свое крайнее отвращение к смерти.

– Было черным-черно, – продолжал Джим с угрюмым упорством. – Туча подползла к нам сзади. Проклятая! Должно быть, где-то еще копошилась во мне надежда. Не знаю. Но теперь с этим было покончено. Меня бесило, что я так попался. Я злился, словно меня поймали в западню. Да так оно и было! И ночь, помню, была жаркая. Воздух был абсолютно неподвижен.

Он помнил это так хорошо, что, сидя передо мной на стуле, казалось, задыхался и обливался потом. Несомненно, он был взбешен; то был новый удар, но этот удар напомнил ему о том важном деле, ради которого он бросился на мостик, чтобы тотчас же о нем позабыть. Он намеревался перерезать канаты, привязывавшие лодки к судну. Он выхватил нож и принялся за работу так, словно ничего не видел, ничего не слышал, никого не замечал. Они сочли его безнадежно помешанным, но не осмелились шумно выразить протест против этой бесполезной траты времени. Покончив с этим делом, он вернулся на то самое место, где стоял раньше. Первый механик тотчас же за него ухватился и зашептал с такой злобой, словно хотел укусить его за ухо:

– Безмозглый идиот! Вы думаете, вам удастся спастись, когда вся эта орава очутится в воде? Да они вам голову прошибут и не подпустят к лодкам.

Он ломал руки, а Джим словно и не замечал его. Шкипер нервно топтался на одном месте и бормотал:

– Молоток! Молоток! Принесите же молоток!

Маленький механик хныкал как ребенок, но, хотя рука у него и была поломана, он оказался разумнее своих товарищей и, собравшись с духом, бросился в машинное отделение. По справедливости следует признать, что это было дело нешуточное. Джим сказал мне, что у механика вид был отчаянный, как у человека, загнанного в тупик; он тихонько завыл и рванулся вперед. Вернулся он тотчас же с молотком в руке и, не останавливаясь, бросился к болту. Остальные немедленно оставили Джима в покое и побежали ему помогать. Джим слышал, как постукивал молоток, слышал звук падающего болта. Лодка была готова к спуску. Только тогда посмотрел он в ту сторону – только тогда. Но он не двинулся с места – не двинулся с места. Он хотел втолковать мне, что он не двинулся с места, что ничего общего не было между ним и теми людьми... теми людьми с молотком. Ничего общего! Более чем вероятно, что он считал себя отделенным от них пространством, которого нельзя перейти, – препятствием непреодолимым, пропастью бездонной. Он стоял от них так далеко, как только было возможно, – на другом конце мостика.

Его ноги были прикованы к этому месту, а глаза – к этой неясной группе людей, наклонившихся и странно раскачивавшихся во власти единого страха. Ручной фонарь, подвешенный к стопке над маленьким столиком на мостике – на «Патне» не было рубки посредине, – освещал напрягавшиеся в усилия плечи, согнутые спины. Они налегали на нос лодки, они выталкивали ее в ночь и больше уже не оглядывались в его сторону. Они отказались от него, словно он действительно был слишком далеко, безнадежно далеко, и не стоило бросать ему призыв, взгляд или знак. Им некогда было взирать на его пассивный героизм и чувствовать укор, таившийся в его сдержанности. Лодка была тяжелая; они налегали на нос, не тратя сил на подбадривание; но ужас, развеявший их самообладание, как ветер раскидывает солому, превращал их отчаянные усилия в начатый фарс, а их самих уподоблял кувыркающимся клоунам в цирке. Они толкали руками, головой, налегали всем телом, напрягали все свои силы, и едва им удалось столкнуть нос с боканца, как все они как один человек стали карабкаться в лодку. В результате лодка резко качнулась, оттолкнув их назад, беспомощных, натыкающихся друг на друга. Секунду они стояли ошеломленные, злобным шепотом обмениваясь всеми ругательствами, какие только приходили им на ум; затем снова принялись за дело. И так повторялось три раза. Джим описывал мне это с угрюмой задумчивостью. Он не упустил ни единой детали комичного зрелища.

– Я проклинал их. Ненавидел. Я должен был смотреть на все это, – сказал он без всякого выражения, мрачно и пристально глядя в меня. – Подвергался ли кто такому постыдному испытанию?

На секунду он сжал голову руками, как человек, доведенный до безумия каким-то невероятным оскорблением. Было кое-что, чего он не мог объяснить суду – и даже мне; но я был бы недостоин принимать его признания, если бы не сумел понять паузы между словами. В этом натиске на его стойкость была насмешка, злобная, порочная, мстительная; был шутовской элемент в его испытании – унижительные комичные гримасы перед лицом надвигающейся смерти или бесчестия.

Он передавал факты, которых я не забыл, но по прошествии стольких лет я не могу вспомнить подлинные его слова, – помню только, что он удивительно хорошо сумел окрасить мрачной своей ненавистью перечень голых фактов. Дважды – сказал он мне – закрывал глаза, уверенный, что конец наступает, и дважды приходилось ему снова их открывать. Каждый раз он замечал, что тьма все сгущается. Тень молчаливого облака упала с зенита на судно и словно задушила все звуки, выдававшие присутствие живых существ. Он уже не слышал больше голосов под тентом. Всякий раз, когда он закрывал глаза, вспышка мысли ярко осве-

щала эту грудю тел, распростертых у грани смерти. Открывая глаза, он смутно видел борьбу четверых, бешено сражавшихся с упрямой лодкой.

Время от времени они падали навзничь, вскакивали, ругаясь, и вдруг снова кидались все вместе к лодке... Можно было хохотать до упаду, добавил он, не поднимая глаз. Потом взглянул на меня с унылой улыбкой.

– Меня ждет веселенькая жизнь! Ведь я еще много раз до своей смерти буду видеть это забавное зрелище.

Он снова опустил глаза.

– Видеть и слышать... видеть и слышать, – повторил он дважды, с большими паузами, глядя в пространство.

Он снова встрепенулся.

– Я решил не открывать глаза, – сказал он, – и не мог. Не мог, – и пусть все это знают – мне все равно! Пусть это испытают те, кто вздумает осуждать меня. Пусть они найдут иной, лучший выход! Вторично глаза мои раскрылись, да и рот тоже. Я почувствовал, что судно движется. Оно чуть накренилось и поднялось тихонько – медленно, ужасно медленно! Этого не было в течение многих дней. Облако пронеслось над головой, и первый вал, казалось, пробежал по свинцовому морю. В этом движении не было жизни. Однако у меня в мозгу что-то перевернулось. Что бы вы сделали? Вы уверены в себе, не так ли? Что бы вы сделали, если бы почувствовали сейчас – сию минуту, – что этот дом чуть-чуть движется, пол качается под вашим стулом? Вы бы прыгнули. Клянусь небом, вы бы прыгнули с того места, где сидите, и очутились вон в тех кустах внизу. – Он вытянул руку в темноту за каменной балюстрадой.

Я не пошевелился. Он смотрел на меня очень пристально, очень сурово. Двух мнений быть не могло: сейчас меня запугивали, и мне следовало сидеть неподвижно, безмолвно, чтобы не сделать рокового признания о том, как поступил бы я, а это признание имело бы отношение и к случаю с Джимом. Я не намерен был подвергать себя такому риску. Не забудьте – он сидел передо мной, и, право же, он слишком походил на нас, чтобы не быть опасным. Но, если хотите знать, я быстрым взглядом измерил пространство, отделявшее меня от пятна сгущенного мрака на лужайке перед верандой. Он преувеличил. Я не допрыгнул бы на несколько футов... Только в этом я и был уверен.

Настал, как он думал, последний момент, но Джим не шевелился. Его ноги по-прежнему были словно пригвождены к палубе, но мысли кружились в голове. И в тот же момент он увидел, как один из тех, что толкались у шлюпки, внезапно попятился, взмахнул руками, словно ловя воздух, споткнулся и упал. Собственно, он не упал, а тихонько опустился, принял сидячее положение и сгорбился, прислонившись спиной к светлому люку машинного отделения.

– То был кочегар. Тоший, бледный парень с растрепанными усами. Исполнял обязанности третьего механика, – пояснил Джим.

– Умер, – сказал я. Об этом шла речь на суде.

– Так говорят, – произнес Джим с мрачным равнодушием. – Конечно, я этого не знал. Слабое сердце. Он уже несколько дней назад жаловался, что ему не по себе. Волнение. Чрезмерное напряжение. Черт его знает что. Ха-ха-ха! Нетрудно было заметить, что ему тоже не хотелось умирать. Забавно, правда? Пусть меня пристрелят, если он не был одурачен и не навлек на себя смерти. Одурачен, вот именно! Клянусь небом, одурачен так же, как и я... Ах! Если бы только он был спокоен. Если б только он послал их к черту, когда они подняли его с койки, потому что судно тонуло. Если бы он засунул руки в карманы и обругал этих людей!

Он встал, потряс кулаком, взглянул на меня и снова сел.

– Упустил случай, да? – прошептал я.

– Почему вы не смеетесь? – спросил он. – Шутка, задуманная в преисподней. Слабое сердце!.. Иногда мне хочется, чтобы у меня было слабое сердце.

Это меня рассердило.

– Вам хочется? – воскликнул я с глубокой иронией.

– Да! Неужели вы не можете это понять? – крикнул он.

– Не знаю, зачем вам желать больше, чем есть, – сердито сказал я.

Он посмотрел на меня, ничего не понимая. Эта стрела тоже пролетела мимо мишени, а он был не из тех, что задумываются над зря потраченными стрелами. Честное слово, он решительно ничего не подозревал, с ним нужно было вести себя по-иному. Я был рад, что моя стрела пролетела мимо, – рад был, что он даже не слышал, как я отпустил тетиву.

Конечно, в то время он не мог знать, что кочегар умер. Следующая минута – последняя, которую он провел на борту – была заполнена событиями и ощущениями, налетавшими на него, как волны на скалу. Я умышленно пользуюсь этим сравнением, ибо, веря его рассказу, склонен думать, что он все время сохранял странную иллюзию пассивности, словно сам он не действовал, а лишь отдавался на волю тех адских сил, которые его избрали жертвой своей шутки. Первое, что он услышал, был скрежещущий звук тяжелых боканцев, наконец повернутых, – этот скрежет словно проник в его тело с палубы через подошвы ног и поднялся по спинному хребту к мозгу. Шквал был близок, и вторая, более высокая волна угрожающе подняла пассивный кузов судна, а мозг и сердце Джима пронзили панические вопли: «Спускайте! Ради бога, спускайте! Судно тонет!»

Вслед за этим канаты побежали по блокам, а под тентом раздались испуганные голоса.

– Они подняли такой крик, что могли разбудить и мертвого, – сказал Джим.

Затем, когда шлюпка с плеском буквально упала наконец на воду, послышался глухой стук падающих в нее тел и нестройные крики:

– Отцепляйте! Отцепляйте! Оттолкнитесь! Шквал надвигается...

Он услышал высоко над своей головой слабое бормотанье ветра, а внизу, у его ног, прозвучал крик боли. Чей-то голос у борта стал проклинать гак у блока. На носу и корме судна раздалось жужжание, словно в потревоженном улье. Джим рассказывал очень спокойно – спокойна была его поза, лицо, голос, – и так же спокойно он продолжал без малейшего предупреждения:

– Я споткнулся об его ноги...

Вот как я впервые услышал о том, что он сдвинулся с места. Невольно я что-то проворчал от удивления. Наконец он сорвался с места, но о том, когда это произошло и что вывело его из состояния оцепенения, он знал не больше, чем знает вырванное с корнем дерево о ветре, повергшем его на землю. Все это его ошеломило – звуки, тьма, ноги мертвого человека. Клянусь Юпитером! Проклятая шутка опутала его всего, но, видите ли, он не признавался в том, что допустил ее. Удивительно, как заразительно действовала на вас его иллюзия. Я слушал так, словно мне рассказывали о манипуляциях черной магии над трупом.

– Он перевернулся на бок, очень тихо, и это последнее, что я видел на борту, – продолжал Джим. – Мне не было дела до того, что с ним происходит. Похоже было – он поднимается. Конечно, я думал, что он встает. И ждал: он пробежит мимо меня к поручням и прыгнет в шлюпку вслед за остальными. Я слышал, как они возились там, внизу, и чей-то голос словно из глубины шахты крикнул: «Джордж!» Затем все трое принялись вопить. Я отчетливо различал три голоса: один блеял, другой визжал, третий выл... ух!..

Он слегка вздрогнул, и я заметил, что он медленно приподнимается, как будто чья-то сильная рука поднимала его за волосы со стула. Медленно он встал, и, когда выпрямился во весь рост, рука словно его отпустила, и он пошатнулся. Жутко спокойным было его лицо, движения и даже голос, когда он сказал:

– Они кричали.

И невольно я насторожился, как будто пытался уловить этот призрачный крик под фальшивым покровом молчания.

– Восемьсот человек находились на борту этого судна, – сказал он, пригвождая меня к спинке стула жутким, невидящим своим взглядом. – Восемьсот живых людей, а они звали одного мертвого, хотели его спасти: «Прыгай, Джордж! Прыгай! Да прыгай же!» Я стоял, положив руку на шлюпбалку. Я был очень спокоен. Тьма спустилась непроглядная. Не видно было ни неба, ни моря. Я слышал, как шлюпка ударялась о борт, и больше ни одного звука не доносилось оттуда, снизу, но на судне подо мной стоял гул голосов.

«Mein Gott! Шквал! Шквал! Отталкивайте шлюпку!»

Когда раздался шум дождя и налетел первый порыв ветра, они подняли вой: «Прыгай, Джордж! Мы тебя поймаем! Прыгай!»

– Судно начало медленно опускаться на волне; водопадом обрушился ливень; фуражка слетела у меня с головы; дыхание сперло. Я услышал издалека, словно стоял на высокой башне, еще один дикий вопль: «Джо-о-ордж! Прыгай!» Судно опускалось, опускалось под моими ногами, носом вперед...

Он задумчиво поднял руку и стал перебирать пальцами, как будто снимая с лица паутину; затем полсекунды смотрел на свою ладонь и наконец отрывисто сказал:

– Я прыгнул... – Он запнулся, отвел взгляд... – Оказывается, прыгнул, – добавил он.

Его светлые голубые глаза взглянули на меня жалобно; глядя на него, стоящего передо мной, ошеломленного, как будто обиженного, я испытывал странное ощущение: то была мудрая покорность и шутливая, но глубокая жалость старика, беспомощного перед ребячьим горем.

– Похоже на то, – пробормотал я.

– Я не знал этого, пока не поднял глаз, – торопливо объяснил он.

Что ж, и это было возможно. Приходилось его слушать, как слушают маленького мальчика, попавшего в беду. Он не знал. Каким-то образом это произошло. И вторично произойти не могло. Он прыгнул на кого-то и упал поперек скамьи. Ему казалось, что все ребра у него с левой стороны поломаны; затем он перевернулся на спину и увидел смутно вырисовывающееся над ним судно, с которого он только что дезертировал. Красный огонь пылал в пелене дождя, словно костер на гребне холма, окутанного туманом.

– Судно казалось высоким, выше стены. Оно вздымалось, словно утес, над лодкой... Я хотел умереть, – воскликнул он. – Возврата не было. Казалось, я прыгнул в колодец, – в глубокую яму...

## Глава X

Он переплел пальцы и расцепил их. Да, то была правда: он действительно прыгнул в глубокую яму. Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться. К тому времени лодка понеслась вперед мимо борта. Было слишком темно, чтобы они могли разглядеть друг друга; кроме того, их слепил и захлестывал дождь. Он сказал мне, что их словно увлекло поток в черной пещере. Они повернулись спиной к шквалу; шкипер, видимо, опустил весло за корму, чтобы вести лодку перед шквалом, и в течение двух или трех минут казалось, что настал конец мира – потоп и непроглядная тьма. Море шипело, словно двадцать тысяч котлов. Это его сравнение – не мое. Думаю, после первого порыва ветер стих; Джим сам заявил на следствии, что большого волнения в ту ночь не было. Он съезжился на носу лодки и украдкой бросил взгляд назад. Он увидел желтый огонек на верхушке мачты, стертый, как последняя угасающая звезда.

– Я ужаснулся, что огонь все еще там, – сказал он.

Это его подлинные слова. Его привела в ужас мысль, что судно еще не затонуло. Несомненно, он хотел, чтобы отвратительная катастрофа закончилась возможно скорее. Люди в лодке молчали. В темноте казалось, что лодка летит вперед, но, конечно, ход ее не мог быть скорым. Ливень пронесся, и страшное, волнующее шипение моря замерло вдали. Слышен был лишь тихий плеск у бортов лодки. Кто-то громко стучал зубами. Рука коснулась спины Джима. Слабый голос спросил: «Вы тут?»

Другой дрожащий голос выкрикнул: «Оно затонуло!»

Они все вскочили на ноги и поглядели назад. Огня они не увидели. Все было черно. Мелкий холодный дождь хлестал их по лицу. Шлюпка слегка накренилась. Кто-то стучал зубами и дважды пытался сдержать дрожь, чтобы заговорить; наконец ему удалось сказать: «К-как раз в-вов-время... Брр!»

Джим узнал голос старшего механика, угрюмо сказавшего: «Я видел, как оно затонуло. Случайно я оглянулся».

Ветер почти стих.

В темноте они прислушивались, повернувшись к корме, словно надеялись расслышать крики. Сначала Джим был благодарен, что ночь сокрыла от него страшную сцену, а затем – знать об этом и ничего не видеть и не слышать показалось ему последним пределом несчастья.

– Странно, не правда ли? – прошептал он, прерывая свой несвязный рассказ.

Мне это не казалось странным. Должно быть, он подсознательно был убежден в том, что реальность не могла быть такой потрясающей, жуткой и мстительной, как ужасная картина, созданная его воображением. Думаю, в этот момент сердце его вместило все страдание, а душа познала весь ужас и отчаяние восьмисот людей, застигнутых в ночи внезапной и жестокой смертью. Иначе как объяснить его слова:

– Мне казалось, что я должен выпрыгнуть из этой проклятой лодки и плыть назад, хотя бы полмили... плыть к тому самому месту...

Как объяснить такой импульс? Понимаете ли вы его значительность? Зачем возвращаться к тому месту? Почему не утопиться тут же, у борта шлюпки, если он думал топиться? Зачем возвращаться туда? Он хотел увидеть... словно должен был усыпить свое воображение мыслью о том, что все кончено, и лишь после этого искать успокоения в смерти. Не верю, чтобы кто-нибудь из вас мог предложить другое объяснение. То был один из тех странных, волнующих проблесков в тумане. То было необычайное разоблачение. Он сказал об этом так, как будто это была самая естественная вещь на свете. Он подавил этот импульс и тогда обра-

тил внимание на тишину вокруг. Об этом он мне рассказал. Молчание моря и неба, необъятное, сомкнулось, как смерть вокруг этих спасенных трепещущих жизней.

– Можно было услышать падение булавки, – сказал он; губы его странно подергивались, как у человека, который, рассказывая о каком-нибудь чрезвычайно трогательном событии, старается овладеть собой. Молчание! Одному богу известно, как он это молчание воспринял.

– Я не думал, чтобы где-нибудь на земле могло быть так тихо, – произнес он. – Нельзя было отличить моря от неба; не на что было смотреть, нечего было слушать. Ни проблеска, ни тени, ни звука. Можно было подумать, что каждый клочок земли пошел ко дну и утонули все, кроме меня и этих негодяев в лодке.

Он склонился над столом и положил руку рядом с кофейными чашками, ликерными рюмками и окурками сигар.

– Кажется, я этому верил. Все погибло и... все было кончено... – он глубоко вздохнул... – для меня.

Марлоу внезапно выпрямился и энергичным жестом отбросил свою сигару. Она прочертила красный след, словно игрушечная ракета, прорезавшая завесу ползучих растений. Никто не шевельнулся.

– Ну, что же вы об этом думаете? – воскликнул Марлоу, внезапно оживляясь. – Разве он не был честен с самим собой? Его спасенная жизнь была кончена, ибо почва ушла у него из-под ног, не на что было ему смотреть и нечего слушать. Уничтожение – да! А ведь это было только облачное небо, спокойное море, неподвижный воздух. Только ночь, только молчание. Так продолжалось несколько минут; потом они почувствовали – внезапно и единодушно – потребность болтать о своем спасении.

«Я с самого начала знал, что оно затонет!»

«Еще минута, и мы...»

«Еле-еле успели, ей-богу!»

Джим ничего не сказал. Затихший было ветер начал снова усиливаться, и ропот моря вторил этой болтовне, последовавшей, как реакция, после минуты немомого ужаса. Оно затонуло! Оно затонуло! Сомнений быть не могло. Ничем нельзя было помочь. Они снова и снова повторяли эти слова, как будто не могли остановиться. Они не сомневались, что оно должно было потонуть. Огни исчезли. Ошибиться невозможно. Огни исчезли. Этого следовало ждать... Судно должно было затонуть... Джим заметил, что они говорили так, словно оставили позади пустое судно. Они решили, что затонуло оно быстро. Казалось, это доставило им какое-то удовольствие. Механик истерически захохотал: «Я р-рад. Я р-рад».

– Зубы его стучали как трещотка, – сказал Джим, – и вдруг он захныкал. Он плакал и всхлипывал как ребенок, захлебываясь и приговаривая: «О боже мой! О боже мой!» Он замолкал на секунду и вдруг снова начинал: «О моя бедная рука! О моя бедная рука!» Я чувствовал, что готов его прибить. Двое сидели на корме. Я едва мог различить их фигуры. Голоса доносились до меня – бормотание, ворчание. Тяжело было это выносить. Мне было холодно. И я ничего не мог поделать. Мне казалось, что, если я пошевелюсь, мне придется отправиться за борт и...

Его рука что-то нащупывала, коснулась ликерной рюмки, он быстро ее отдернул, словно притронулся к раскаленному углю. Я слегка подвинул бутылку и спросил:

– Не хотите ли еще?

Он посмотрел на меня сердито.

– Вы думаете, я не смогу это рассказать, не взвинчивая себя? – спросил он.

Компания кругосветных путешественников отправилась спать. Мы были одни; только в тени виднелась неясная белая фигура; заметив, что на нее смотрят, она шагнула вперед, приостановилась, затем безмолвно скрылась. Час был поздний, но я не торопил своего гостя.

Сидя растерянный в лодке, он услышал, как его спутники начали вдруг кого-то ругать. «Чего ты не прыгал, сумасшедший?» – спросил чей-то ворчливый голос.

Первый механик слез с кормы и стал пробираться к носу, словно подхлестываемый злобным намерением разделаться с «величайшим идиотом на свете». Шкипер, сидевший у весла, хриплым голосом выкрикивал обидные эпитеты. Джим поднял голову и услышал имя «Джордж»; в то же время в темноте чья-то рука ударила его в грудь.

«Что ты можешь сказать в свое оправдание, дурак?» – осведомился кто-то в порыве справедливого негодования.

– Они ругали меня, – сказал Джим, – они ругали меня... называя Джорджем.

Он взглянул на меня, попробовал улыбнуться, отвел глаза и продолжал:

– Этот маленький второй механик наклонился к самому моему носу: «Как, да ведь это проклятый штурман!» «Что?!» – заревел шкипер с другого конца шлюпки. «Не может быть!» – взвизгнул старший механик. И тоже наклонился, чтобы заглянуть мне в лицо.

Ветер внезапно стих. Снова полил дождь, и мягкий таинственный шум, каким море отвечает на ливень, поднялся со всех сторон в ночи.

– Сначала они были слишком ошеломлены, чтобы тратить много слов, – стойко рассказывал Джим, – а что мне было им сказать? – Он запнулся, потом с усилием продолжал: – Они называли меня скверными именами...

Голос его, пониженный до шепота, вдруг зазвучал громко, ожесточенный презрением, словно речь шла о каких-то неслыханных мерзостях.

– Все равно, как бы они меня ни называли, – угрюмо сказал он, – ненависть звучала в их голосах. Недурное дело! Они не могли простить мне, что я попал в лодку. Эта мысль была им ненавистна. Они обезумели... – Он отрывисто рассмеялся... – Но это удержало меня от... Смотрите! Я сидел со скрещенными руками на планшире носа...

Он присел на край стола и скрестил руки:

– Вот так – понимаете? Достаточно было чуть-чуть наклониться, и я бы отправился... вслед за остальными. Чуть-чуть наклониться...

Он нахмурился и, коснувшись пальцем лба, многозначительно сказал:

– Эта мысль все время была у меня в голове. Все время... А дождь, холодный, как растаявший снег – нет, еще холоднее, – падал на мой тонкий бумажный костюм... Никогда еще мне не было так холодно. И небо было черное, совсем черное. Ни единой звезды, ни проблеска света, – ничего за пределами этой проклятой лодки, где двое людей таякали на меня, словно дворняжки на вора, загнанного на дерево. «Тяв! Тяв! Что ты тут делаешь? Хорош, нечего сказать! Здесь не место для такой особы, как ты! Что, ты уже не такой очумелый? Влез в шлюпку? Да? Тяв! Тяв!» Эти двое старались перекричать друг друга. Шкипер лаял с кормы; за завесой дождя его нельзя было разглядеть; он выкрикивал ругательства на своем грязном жаргоне. «Тяв! Тяв! Гау, гау, гау! тяв, тяв!» Приятно было их слушать. Уверю вас, это меня возбуждало. Это спасло мне жизнь. А они все орали, словно хотели криком свалить меня за борт... «Как это ты набрался храбрости прыгнуть? Ты здесь не нужен. Если б я знал, кто здесь сидит, я б тебя швырнул за борт, проклятый хорек! Что ты сделал с механиком? Как это ты решился прыгнуть, трус? И почему бы нам троим не швырнуть тебя за борт?..» Они задохлись от крика. Ливень прекратился. И снова тишина. Ни звука не слышно было вокруг лодки. Они хотели отправить меня за борт! Ну что ж, их желание исполнилось бы, если б только они сидели молча. Швырнуть за борт! Пошли бы они на это? «Попробуйте», – сказал я. «За два пенса швырнул бы!» – «Не стоит пачкаться!» – взвизгнули они вместе. Было так темно, что я мог различить их, только когда они шевелились. А, право, жаль, что они не попытались!

Я невольно воскликнул:

– Какое необычайное положение!

– Недурно, а? – сказал он словно в оцепенении. – Они, кажется, думали, что я почему-то прикончил того кочегара. Зачем мне было это делать? И как я мог знать? Ведь попал же я как-то в лодку. В лодку... я.

Мышцы вокруг его рта сократились, и гримаса прорезала маску, скрывавшую его лицо, – сильная, мимолетная судорога, словно вспышка молнии, освещающая на секунду тайные извилины облака.

– Я прыгнул. Несомненно, я сидел с ними в лодке, – не так ли? Не ужасно ли: что-то побудило сделать такую вещь, а потом ответственность ложится на человека! Что я знал об их Джордже, из-за которого они подняли вой? Помню, я видел, как он лежал, скорчившись на палубе. «Убийца и трус!» – выкрикивал первый механик. Казалось, только эти два слова и приходили ему на память. Мне было все равно, но этот крик начал меня раздражать. «Замолчите», – сказал я. Тут он собрался с силами и отчаянно завопил: «Вы его убили! Вы его убили!» – «Нет, – крикнул я, – но вас я сейчас убью!» Я вскочил, он с грохотом упал назад через скамью. Я не знаю, как это произошло. Было слишком темно. Должно быть, он хотел отступить. Я стоял неподвижно, повернувшись лицом к корме, а маленький второй механик захныкал: «Ведь вы же не ударите человека с поломанной рукой... а еще считаете себя джентльменом». Я услышал тяжелые шаги и хриплое ворчание. Вторая скотина шла на меня, волоча весло по корме. Я видел, как он надвигается, огромный-огромный – такими нам кажутся люди в тумане или во сне. «Идите!» – крикнул я. Я отшвырнул бы его, как узел с тряпьем. Он остановился, пробормотал что-то и повернул назад. Быть может, он услышал приближение ветра. Я ничего не слышал. То был последний порыв ветра. Шкипер вернулся к своему веслу. Мне было жаль. Я бы не прочь был попытаться...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.